



Генри Лайон
ОЛДИ

ПЕСНИ
ПЕТЕРА СЪЛЯДЕКА

Хёнингский цикл

Генри Олди

Песни Петера Сълядека (сборник)

«Автор»

2004

Олди Г. Л.

Песни Петера Сьядека (сборник) / Г. Л. Олди — «Автор»,
2004 — (Хёнингский цикл)

Идет по путям-дорогам лютнист Петер Сьядек, раз за разом обреченный
внимать случайным исповедам: пытаются переиграть судьбу разбойник,
ученик мага и наивная девица, кружатся в безумном хороводе монах и судья,
джинн назначает себя совестью ушлого купца, сын учителя фехтования путает
слово и шпагу, железная рука рыцаря-колдуна ползет ночью в замковую
часовню, несет ужас солдатам-наемникам неуловимый Аника-воин, и наконец
игрок в сером предлагает Петеру сыграть в последнюю игру. Великий дар –
умение слушать. Тяжкий крест – талант и дорога.

© Олди Г. Л., 2004

© Автор, 2004

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Здесь и сейчас | 6 |
| Баллада двойников | 34 |
| Джинн по имени Совесть | 59 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 71 |

Генри Лайон Олди

Песни Петера Сьядека

Дорогу лучше рассматривать с высоты птичьего полета. Это очень красиво: дорога с высоты. Ни пыли, ни ухабов – шел коробейник, обронил ленту. Бери, в девичьи косы заплетай! Обочина течет июльским медом, февральской сметаной, овсяным киселем ноября, пестрой волной мая. Мозоли, усталость, еж в груди остались внизу, на дороге – птице над дорогой этого не понять. Ей, стрижу-ястребу, тощей пигалице или клювастому горлоеду, дорога кажется самой чудесной штукой на земле. То ли дело будничное небо: крылья дрожат, враги не дремлют, стрела стережет, в облаке холодно, над облаком голодно. Вот и косятся птицы с завистью на лопухов-подорожников: ишь, ходят...

Людей лучше рассматривать издали. Например, из окна; еще лучше, если окно расположено на самом верху башни. Это очень увлекательно: люди на расстоянии. Рыцарь не пахнет перегаром и чесноком, принцесса не кажется стервой, беременной от конюха, а первые встречные никак не норовят сунуть кулаком в зубы вместо того, чтобы поделиться вином на привале. Маленькие люди таскают за плечами маленькие истории – лживые, противоречивые и сиюминутные, собранные в кудель пряжи, нить за нитью плетут они гобелен одной, большой и чудесной Истории. Сиди в башне, смотри из окна, любуйся. Жаль, в башне сквозняки, крыша течет, мыши шуршат в углах, а ночью страхи присаживаются на край одинокой постели. Тут уж рыцарев перегар за доблесть сойдет, а стерва-принцесса или какая другая девка из Малых Брубулянцев за счастье сойдет, лишь бы теплая и в веснушках. С утраца добредешь до окошка, глянешь на этих, которые внизу, и аж задохнешься от холодка под ложечкой: ишь, ходят..

Жизнь лучше рассматривать со стороны. Из горних, значит, высей. Тогда она выглядит законченным и гармоничным артефактом, творением крылатого гения, а не сплошным недо-разумением простака. Глядя изнутри, ничего в жизни толком не разглядишь. Суета, томление духа, крошки в мятой простыне; одни камни собирают, другие разбрасывают, третьи этим камнем ближнего искренне любят, по темечку. А главное, замысла глазом не окинуть. Не познать в целостности. Выхватил горбушку? – жуй, давься, на каравай рта не разевай. Не про твою честь караваи пекутся.

Отчего же не удается, не складывается: дорогу – с высоты, людей – из окна, жизнь – со стороны? Если лучше? чище? прелестнее?! Идешь, пылишь, кашляешь, сам себе удивляешься. Дурацкие мысли в башке катаешь. Стучат мысли, гремят, подпрыгивают тележными колесами на ухабах. Вглядываешься из-под ладони: далеко ли еще? Далеко.

Ну и славно, что далеко.

Оно, которое далеко, отсюда лучше смотрится.

Здесь и сейчас

Выбор всегда остается за нами. Всегда – за нами. Мы идем вперед, мы торопимся, но хватит ли нам отваги прервать движение, остановиться, преодолевая страх, и повернуться спиной к опасности или счастью, которые всегда впереди, и лицом – к выбору, который всегда, вечно, неизменно и невидимо остается за нами?!

Последняя запись в дневнике Бьярна Задумчивого, мага из Хольне

*У обнаженного меча
Из всех времен одно —
Сейчас.*

Ниру Бобовай

– Чем?! – Лицо корчмаря налилось краснотой.

– Песнями, – повторил Петер Сьядек, дуря от собственной наглости. – Я расплачусь песнями.

Корчмарь прошелся между столами. Тучный, дородный, он двигался вперевалячку, напоминая груженую фуру на Кичорском шляхе. Ручищи – окорока. Хватит такой по уху...

– Миска тушеной капусты, – задумчиво протянул Ясь Мисюр, оглядывая свою корчму, словно впервые ее увидел. – Две миски. С верхом. Пять черных колбасок, жаренных в меду. Свиная печенка с тмином. Три кружки пива. Красного, чет-нечет...

– Четыре. Четыре кружки.

Петер Сьядек всегда считал себя честным человеком.

– Ага, четыре. И ночлег. Выходит, чет-нечет – песнями?!

Сквозь узкие оконца пробивалось утро. Котенок играл на полу с розовыми перьями солнца: охотился, урчал. Потом, разом забыв про игру, взялся умываться, мелькая шершавым языком. Петер позавидовал котенку. Кормят за мурлыканье...

– Вечером народ соберется, – плохо веря собственным словам, сказал он. – Я петь стану. Мне грошей дадут. Много. Я и расплачусь.

– Что ж вчера не насобирал?

– Вчера народу не было.

– А сегодня будет?

– Сегодня будет.

Нестерпимо захотелось встать. Но он понимал: тощий как жердь бродяга будет смешон рядом с раздобревшим на ветчине Мисюром. Столб у амбара. Карась рядом с матерым сомиком. Еще решит: сбежать хочу...

– Если бить надумаешь, – в голосе Петера Сьядека звучала скучная, привычная обреченность, – значит, бей. Оно полегчает. Только по уху не надо. Мне оглохнуть – хуже смерти. И музыку зря не трогай.

Он слегка толкнул ногой «музыку» – старую, изношенную лютню, завернутую в пеструю тряпицу, – дальше, под стол.

– Мне твои песни... – буркнул корчмарь. – Мне твои гроши...

– Суббота нынче. Народ соберется...

– Мне твои уши...

У Петера вдруг защемило в брюхе. Вчера был вечер пятницы. И – пустая корчма. Если не считать рубежного охранца, судя по шнурам, сотника, приехавшего из Раховца с дамой. Скорее всего, женой. Им выделили лучшую комнату наверху. Сейчас знатная пара сидела у окна, завтракая лепешками с медом и сметаной. Дама прислушивалась к беседе, если так можно

было назвать справедливые требования Яся Мисюра и встречные предложения Петера. Дама улыбалась: добродушно, с расположением. Небось, когда бить станут, велит, чтоб прекратили.

Или не велит.

Дамы – они на зрелища падкие.

Скорее уж приходилось рассчитывать на милосердие другого гостя – высокого мужчины, закутанного в плащ. Посох с набалдашником, скучая возле стеночки, выдавал в своем владельце мага. Маги не любят насилия. Так говорят... Петер не смог припомнить, кто так говорит и почему. Наверное, просто очень захотелось, чтобы маги не любили насилия. Чтобы вмешивались, защищали, спасали. Он знал за собой плохую черту: придумать что-нибудь и сразу поверить в это, как в святую истину.

Корчмарь подошел ближе. Петер зажмурился, ожидая. Лишь бы не по уху. Левое ухо у него всю зиму плохо слышало, после истории в Легнице.

Не удержался, встал. Стоя легче терпеть.

– Мне твои гроши... – повторил Ясь Мисюр. – Дурень ты. С трубой. Трубадур, чет-нечет... Садись.

Не открывая глаз, Петер сел обратно на скамью.

– Дочка говорит: бросай корчму. Мол, чет-нечет, распродашься, переедешь к нам в Раховец. Внуков нянчить. По вечерам вдоль набережной гулять станешь. С тросточкой, навроде честного мещанина. Не ты – тебе наливать станут. И то верно: кубышка есть, сбереженья, зять в чинах, поможет... До конца дней хватит. А я без корчмы... Ну скажи мне, гусь ты перелетный, кто я – без корчмы-то?

Котенок потерялся о ногу Петера, и бродяга едва не подскочил. Думал: уже быют. Хуже нет, чем по ногам башмаками... С деревянной-то подошвой! После дорога адом кажется.

– Сиди, дурила. Песнями он... Что за песни?

– Есть веселые. Похабные, если надо. Для паромщиков. – Под ресницами царила приятная темень. Там роились несбыточные надежды, обещая сбыться. – Сплавщики похабство уважают. Плясовые: овензек, козерыйка... Есть благородные: про рыцарей, про обеты. Могу балладу о битве при Особлоге. Сам сочинил...

Очень хотелось произвести впечатление. Все-таки сегодня шестая годовщина битвы.

– Сам он сочинил. – Корчмарь хохотнул, и эхом донесся густой смешок со стороны. Наверное, сотник. – Чинил, чинил и сочинил. Сороки ему натрещали, чет-нечет...

Петер обиделся. Открыл левый глаз:

– Это кому другому сороки. А я все видел. Я в ополчении стоял, на круче. У меня копье было – большое. С зазубринами. Нам всем копьа раздали.

– Не надо, – вдруг сказал сотник. – Ясь, не надо про Особлогу. Отстань от парня. Я за него заплачу.

– Заплатит он. – Бас корчмаря треснул странной, нагловатой усмешкой. – Заплатит он мне, чет-нечет... На всю жизнь осчастливит. Буду по Раховской набережной с тросточкой: чап-чап, чап-чап...

Петер Сьядек тихонько удивился отваге Яся Мисюра. Простой корчмарь, и не боится вот так, с рубежным охранцем... Похоже, бить раздумали. Спросить каши? Глядишь, расщедрится... гречневой, с салом...

Впрочем, вместо каши Петер вдруг решил обидеться насовсем.

– Это хорошая баллада. Очень хорошая. Я старался. Когда пою, все просят повторить. И в ладоши хлопают. Вот про Сутулого Рыцаря, как он над Зигмундом Майнцским рубился...

Припотывая и старательно отбивая ритм по краю стола, Петер громко затянул:

Встав спиною к стволу, он топтал вражью тень,
Умирая, как день, воскрешая, как ночь его,

И тончайший слой кожи горел на хребте,
Разрываясь меж деревом и позвоночником!..

Хохот сотника был ему ответом. Звонко вторила дама, всплеснув руками, затянутыми в дорожные перчатки. Колоколом гудел корчмарь Ясь. Даже дылда-маг соизволил улыбнуться уголком рта. Котенок в испуге отпрыгнул к лестнице, шипя, выгнув спину.

– Эй, Мисюреха! Каши певуну! С гусиной вышкваркой! Ну, потешил, чет-нечет...

– Ты правда был при Особлоге? – неожиданно спросил сотник, вставая. В птичьих пронзительных глазах его стоял вопрос, куда более серьезный, чем могло показаться на первый взгляд. Петер только не мог сообразить, почему сотник придает этому такое значение. – Ты не бойся, отвечай по совести. Если соврал, я наказывать не стану. Был?!

– Был...

– С копьём на круче?

– С копьём.

– Чей штандарт от вас по левую руку вился?

– Княжий. Рацимира Опольского.

– Гляди, не врешь... И о чем думал?

– Кто? Князь?!

– Ты.

– Когда?

– Тогда. На круче.

Петер ощутил неодолимую потребность ответить правду. С ним такое случалось нечасто и почти всегда завершалось побоями.

– Жалел. Что я на круче, а они – на том берегу. Сутулый Рыцарь, и Ендрих Сухая Гроза, и все. Будь я на их месте... Мне видно плохо было. Но я смотрел... Я честно был там. Нас потом через брод погнажи.

– Убивал?

– Да, – мрачно набычился Петер Сьядек. – У меня копьё... Я его в живот, с разбегу, а он хыкнул и умер. Дальше не помню.

– Ты Расскажи мальчику, Ясь, – кивнул сотник, в упор глядя на корчмаря. – Я ж вижу, у тебя язык во рту пляшет. Хочешь – Расскажи. А мы наверху обождем. Как Сегалт приедет, пусть нам доложат.

Ступени скрипнули под шагами.

Корчмарь долго смотрел в стол. Потом поднял глаза на высокого мага. Тот еле заметно кивнул. Петер занервничал: он не понимал, что происходит, а непонятное всегда грозило перерасти в неприятное. Схватить лютню и бежать?

Если бы не обещанная каша, появившаяся перед ним, Петер бы удрал.

Но каша... с гусиной вышкваркой!..

– Ешь, дурила. Ишь ты – тень, чет-нечет, вражью топтал... Сам видел: корчма пустая. И сегодня пустая будет, и завтра. Народ знает, когда кум Мисюр никого видеть не хочет. А ты приперся поперек. Я глянул: тощий, ребра наружу, одни глазищи горят. Дай, думаю, подкормлю. На небесах зачтется. На этого цыпленка ты был похож, – корчмарь кивнул в сторону мага, и Петер еще раз подивился чудной отваге Яся. А в придачу – удивительному сравнению.

Вот уж где ничего общего!

– Только разбередил ты меня, парень. Растравил душу. Ладно, слушай. Если каши не хватит, я велю еще принести...

* * *

Дым над окраиной Пшесеки был хорошо виден. Корчма стояла на холме, выше перекрестка Кичорского шляха с дорогой на Вроцлав – место бойкое, и деревня, где Ясь Мисюр закупал провизию, просматривалась отчетливо. Вон пламенем стрельнуло. Жгут Пшесеку, сучьи дети. Спасибо Божьей Матери, без души жгут, лениво. Не случись стычки у Жабьей Струги, и вовсе б махнули рукой. А так... Корчмарь вглядывался из-под козырька ладони, ломая голову в догадках: кто рискнул схлестнуться с вояками Майнцкого маркграфа? Кто-то из разбитых на границе рубежников-ополян?! Вряд ли. Рубежники пятки салом смазали, до самой Особлоги драпать станут. Зато теперь злые, как дьявол на Рождество, майнцы отыграются на сельчанах. Хорошо, если без резни обойдется – снасильничают десяток молодежи, мужьям рыло начистят, подвалы разворуют...

– Что там, Ясь?!

– Праздник. Как есть праздник, Мисюриха. Скоро запляшем козерыйку.

Жена стала плакать, утираясь передником. Ничего, пускай. Лучше сейчас, чем потом. Не позднее полудня и до корчмы доберутся, аспиды. Надо будет принять, ублажить, залить zenки пивом. Авось не сожгут. Только сперва Люкерду в ухоронку отведу – спортят девку, бесово семя, а кому она, битая-порченная, занадобится? Да еще, не приведи Господь, с байстрюком в подоле...

Честь приданым не отмоешь.

– Ясь, скажут!

Корчмарь, моргая, всмотрелся. Таки скажут. Кони заморенные, едва тащатся. Пять всадников на три коня. Кого черт послал? На майнцев не похоже, у них и лошади сытые, и седоки...

– Ясь, то Ендрих!

Совсем плохие глаза стали. Лишь теперь Ясь Мисюр узнал в человеке, боком сидевшем на гнедой кобыле, Ендриха по прозвищу Сухая Гроза. Атамана известной на все Ополе шайки. Так вот кто майнцев тряхнул! Небось обоз перехватить мыслил, да нарвался. Известный гордой посадкой красавец Ендрих сейчас напоминал мокрую курицу: не поддерживай его второй всадник, свалился б с лошади. Усами в пыль. И морда в кровище изгваздана.

Вон, спешиваются.

– Мисюр, выручай!

Обвиснув на руках спутников, Ендрих ковылял к корчме. Был он широкоплеч, крепок телом, и друзья-побратимы только кричали, надрываясь от тяжести главаря. Всякий раз, когда Сухая Гроза ступал на правую ногу, он рычал и бранился не по-людски. Сломал, что ли? Или стрелой достали?!

– Мисюр! В схрон мне бы! Не уйдем...

В схрон ему! Корчмарь представил себе тайник, где прячутся Люкерда, кровиночка ненаглядная, и этот разбойник. С глазу, чет-нечет, на глаз. Потом в наследство атаманыша принесет... Толку-то, что сам Ясь не раз и не два укрывал доставленную Ендрихом контрабанду, что имел долю в добыче, помогая сбывать навар в Раховце или Вроцлаве?! Люкерда-дурочка от Сухой Грозы без ума: вздыхает, зовет Робин Гудом. Будет ей Робин, будет и Гуд в укромном местечке...

– Коней мало, Мисюр! Догонят! Спрячь, за мной не заржавеет!

Хорошо хоть, не грозит. Дескать, иначе корчму спалим. Ясь вновь глянул в сторону дымившей Пшесеки, потом перевел взгляд на атамана. Молод, хорош собой. Усы рожнами закручены. При деньгах. Кличку получил за бешеный норов да нелюбовь к лишней крови. Первое – плохо, второе – хорошо. А все едино: не такого муженька дочери нужно.

Ладно, долг платежом красен.

– Спрячу, Ендрих! Эй, тащите атамана в подвал!

Повернулся к жене:

– Беги за Люкердой. Пусть тоже в ухоронку лезет...

Жена выразительно покрутила пальцем у виска. Ну да, бабы срамное дело быстро разумеют.

– Беги, беги. Пускай Люкерда с собой этого возьмет... Приживала. Он старый, до девок не охоч. Приглядит. Скажи ему: ты, Джакомо, единственная надежда. Охрани, береги. Ежли, чет-нечет, нас за глотку...

Что правда, то правда – Джакомо Сегалту не до девок. Истаскался крючок. Хотя в молодости, по всему видно, погулял. Когда Люкерда взбеленилась да затребовала себе учителей, чтоб по-благородному – танцы-манцы-реверансы! – Ясь благодарил Бога, что подвернулся этот дряхлый гуляка. И в танцах, и в языках, и этикету обучен. Седьмой десяток разменял, а только в прошлом году сутулиться начал. Осанка вельможная. Люди говорили, раньше знаменитым кавалером был: на турнирах блистал, с маврами под стягом самого Фернандо Кастильца бился. С османами на море воевал. Врут, должно быть. Людям сбрехать, что сучке хвост задрать. А вот что разорился кавалер подчистую – в это верилось. Скитался, мыкался, последние годы сидел библиотекарем у Иеремии Ловича. Очень Иеремия благоволил к нему. Велел слугам насмешек не строить, гостям на потеху не давал. Сам частенько сживал рядом, беседы вел. А как помер магнат, Джакомо с младшим Ловичем разругался вдрызг.

И ушел.

Сейчас за кусок хлеба, за крышу над головой девку пустякам учит.

– И меня! Меня спрячьте!

Дьявол бы его побрал, этого мальчишку! Совсем забыл... Корчмарь грузно, всем телом повернулся к вчерашнему заброду. Явился, дьяволенок, напросился переночевать. Серебряный секанец дал: за ужин с ночлегом. Где и взял? – украл, должно быть. Не поймешь: то ли шестнадцать юнцу стукнуло, то ли все двадцать. Воробей воробьем: тощий, встрепанный, одни глазищи – угольями.

– Кыш отсюда! Скатертью, чет-нечет, дорожка!

– И меня! Меня! Не спрячете, я майнцам все расскажу! Все!

Атаман Ендрих вопросительно скосился сперва на корчмаря, потом на своих головорезов. Дескать, заткнуть глотку? Красное от боли лицо Сухой Грозы дернулось: нет, пустой крови не любил. Впрочем, мальчишка даже не понял, что стоял на волосок от смерти. Опустил голову, украдкой смахнул стыдную слезу.

– Простите... Я сдуру. Нельзя мне к ним, в руки-то...

Вдруг просиял:

– У меня! Вот! Есть!!!

Грязная рука нырнула за пазуху. Миг, и на ладони сверкнул луч света – медальон. Золотой. Тут корчмарь не мог ошибиться, хоть на глазок, хоть на зубок.

– Я заплачу! Он волшебный!

– Золотишко? – на всякий случай уточнил Ясь Мисюр.

Мальчишка потупился:

– Н-не знаю... Наверное. Он взаправду волшебный. Это Бьярна Задумчивого, мага из Хольне.

Ендрих присвистнул, жмурясь. Если хлопец не брешет... Имя Бьярна, мага из Хольне, значило много. Спрячет гулящего Ясь, за такое добро в нужник спрячет и сам сверху сядет, чтоб не сыскали.

– От чего амулет? На удачу? На любовь?!

– Не-а... От тараканов. Положить за ставенку, век в доме тараканов не будет...

Корчмарь цыкнул на развеселившихся разбойников. Дорогая штука. Пускай хлопец пустобрех. Наболтал с три короба: тараканы, Бьярн... Воришка. Ладно, лишний глаз в ухоронке не повредит. Здесь другое, чет-нечет: двое парней, старый приживал-воспитатель и одна Люкерда?

– Эй, Сквожина!

На пороге объявилась служанка – плотная, коренастая, больше похожая на мужика. Близко посаженные глазки смотрели диковато и неприветливо. К подолу женщины жалась девочка лет пяти.

– Готовься. В ухоронку полезешь. Знаю я тебя: сунут лапу под юбку, а ты в ухо! Или брякнешь лишнего...

Сквожина цыкнула слюной сквозь зубы, но промолчала.

Пыльная темнота. Дразнящие запахи копченостей, пива, лука, вяленой рыбы. Из щели едва ощутимо ползет струйка винного аромата. Слышно, как снаружи Ясь Мисюр, сопя, заваливает потайную дверцу всяким барахлом. В эдаком хламе, даже сунься майнцы в погреб, рыться побрезгуют.

– Было бы крайне полезно зажечь свечу, – скрипит недовольный голос Джакомо Сегалта. Потом старик долго кашляет, прежде чем продолжить: – Я опоздал рассмотреть внутренность этого... м-м-м... помещения и теперь опасаясь сесть на что-либо неподобающее.

– Задницей на вилы, – ядовито уточняет Сквожина, чихнув.

– Или вы предпочитаете стоять, ожидая, пока майнцы не двинутся дальше, на Вроцлав? – невозмутимо заканчивает пожилой воспитатель, игнорируя ехидство служанки. Видно: старик давно сжился с дурным норовом женщины, пропуская ее брюзжанье мимо ушей.

– Уж лучше постоять. Вдруг свет заметят?

Вопрос принадлежит юноше-забрوده.

– Шиш они заметят. Мне в этой дыре не впервой отсиживаться. Лучше нам друг за дружкой приглядывать. Не ровен час... У меня и кресало есть, и трут. Свечу прихватили?

– Извольте, Ендрих. Только я ничего не вижу.

– Держи в руке. Сейчас увидишь.

– Ага. Пушай в руке держит. И рукой туды-сюды елозит. Авось свечка до небес вырастет! Без огня полыхнет...

– Заткнись, дурища!

– Полностью с вами согласен, Ендрих. При молоденькой девице... такие гадости...

– Мамка, хацу свецку! Туточки затемнотело! Пусть дядя Закомщик сделает огонек...

– Сделает дядя, сделает... хрена он сделает, твой дядя, и редькой доделает...

Щелкают удары кресала. Искры. Еще искры. Тянет дымком. В ладонях Сухой Грозы начинает медленно разгораться огонь – сперва темно-багровый, тусклый, дальше все более яркий. Верней, это позже становится видно, что в ладонях. Поначалу кажется, будто зловещий красный глаз возник во тьме.

– Теперь видишь? Давай сюда свечу.

Сутулая фигура заслоняет рдеющий «глаз». Треск фитиля, по стенам мечутся блики.

Свет! Живой, охристый.

– Благодарю вас. Люкерда, прошу садиться. Лучше вот сюда, на бочонок. Сейчас, я только пыль смахну. Табуретов здесь, как сами понимаете, не водится. Не говоря уже о стульях и креслах.

– Ковров не прикажете? – кривится Ендрих. Неизвестно, что ему больше докучает: боль в ноге или чопорность старика. – Вон в углу стоит, свернутый. Добрый ковер, из Шемахани. Давайте, давайте, я как раз на него лягу. Не на полу же валяться...

– Откуда у папы шемаханский ковер? И... вообще все это?!

Люкерда с удивлением осматривалась по сторонам. Тугие бревна ковров, тюки с тканями, аккуратные кованые сундучки и резные ларцы, бочонки, пузатые мешки. Местами из завалов и нагромождений торчат рукояти мечей, древко бердыша, полированная ложка самострела, гребень шлема...

Устраиваясь поудобнее, атаман оскалился с напускной веселостью:

– Откуда? От чуда-юда! С молодецкого промысла – из дальних стран доставлено, у дурных людей отобрано...

– Молодой человек, вы бы уж потрудились называть вещи своими именами. Стыдно вводить наивную девицу в заблуждение. Контрабанда и разбой, вот как это называется.

– Замолчите, Джакомо! Как вам не стыдно! Ендрих, он... он настоящий герой! Он сегодня напал на передовой отряд маркграфа Зигфрида! Словно Неистовый Роланд на мавров!

– Да, конечно. – Джакомо кисло усмехается краешком губ, садясь на ближайший сундук. – Ронсевальское ущелье, верный Дюрандаль... Трубадуры в очередь строятся: воспевать. Ну и как, господин герой, гроза захватчиков? Враг разбит наголову и позорно бежал? Или, может быть, вы с вашими достойнейшими рыцарями удачи просто решили разграбить чужой обоз? Только охрана оказалась Роландам не по зубам? И теперь солдаты маркграфа вымещают зло на мирных поселянах – герои-то ушли! Герои в схронах сидят, копят силы для новых подвигов!

Ендрих Сухая Гроза угрюмо молчал. Старый приживал попал в точку. Все именно так и случилось. Они спокойно перешли границу, которой после захвата вольного города Хольне больше не существовало. Обоз обнаружили ближе к вечеру. Телеги с провиантом и фуражом отстали от основного войска, уже выдвинувшегося к рубежу Опольского княжества, и казались легкой добычей. Однако без шума не обошлось. Дюжие обозники отмахивались алебардами, стервенея от безнадёги: звон, лязг, крики... Двоих из ватаги изрядно поранили, а лихой Збышек вовсе сложил на поле буйную голову – даже тело забрать не успели. Когда все было кончено и осталось только увести телеги с добром, из-за леска вылетел отряд конницы. Всадников маркграфа было впятеро больше, чем ватажников, и о барыше думать уже не приходилось – самим бы ноги унести!

Уходили всю ночь. Их нагнали на рассвете, возле Пшесеки. Хорошо еще, что преследователи за ночь сильно растянулись. Ударили бы кулаком, в полную силу, – гнить разбойничкам на жарком солнышке. После первой сшибки, оставив треть ватаги на поживу воронью, уцелевшие рванули врассыпную: по оврагам, в пойму Веселки, к Кичорскому шляху. Двоим судьба обломилась – догнали, порубили. Под самим Ендрихом стрелой убили лошадь. Спрыгнуть не успел, телом упавшей кобылы придавило ногу. Спасибо, дружки подоспели, выручили. И вот теперь ему, Ендриху Сухой Грозе, отсиживаться в погребе вместе с бабами? С желчным дедом-нахлебником?! С сопливым юнцом, который от страха в штаны небось наложил?! Всех продать грозился, щенок... А кому он нужен, спрашивается? Или все-таки нужен? Ладно, сидеть долго, вытрусим правду.

Успеется.

– Что, герой с кривой ногой? Язык проглотил? Как грабить да чужих жен по стогам валять – так орел! А как ответ держать – язык в гузно запихал? Верно Жаком говорит...

– Сквожина! Дождешься!..

Ендрих смерил взглядом наглую бабу. Этой стерве наплевать, кто перед ней: пьянчуга подзаборный, городской купец, честный атаман, а хоть бы и сам князь Рацимир! Не глянулся – окатит помоями и глазом не моргнет. Связываться с дурой? Себе дороже. Но и отмалчиваться было нельзя.

– Уж тебя я точно по стогам не валял. Оттого, видать, и злишься. Кто на эдакую пакость позарится? Разве что наш кавалер-удалец. А, Джакомо? От тебя Сквожине дочку надуло?

– Я бы попросил вас, господин разбойник, воздержаться от подобных высказываний. По крайней мере в присутствии юной девицы. Вы слышите меня?

Орлиный профиль Джакомо Сегалта излучал холод, обычно предшествующий вызову на поединок. Люкерда с испугом отодвинулась от своего воспитателя, впервые видя его таким. Показалось, что огонь свечи, отразившись в черных глубоко запавших глазах старика, вдруг стал острым, страшным.

Не огонь – клинок, змеей ползущий из ножен.

– Разумеется, грабители с большой дороги лишены понятия о хороших манерах, но я надеялся... И, как вижу, зря. Тебя, Сквожина, это тоже касается! Узнает Ясь – палкой отходит. Дабы язык не распускала.

Лицо приживала слегка смягчилось, холодок растаял.

– И вообще, давайте перестанем ссориться. Если кого невольно обидел, приношу свои извинения. Это от волнения.

– Ладно, старик. Все мы хороши. Перемыли друг дружке косточки, и хватит.

Устроившийся прямо на полу юноша кивнул, смешно дернув щекой. Будто пощечины ждал. Хотя ему-то чего бояться. Никого не задевал, сидел тише мыши. Пятилетняя Каролинка, дочь бойкой на язык Сквожины, вообще не обращала внимания на перепалку: девочка добралась до ларца, где хранились цветные бусы, блестящие пуговицы и прочие безделушки. Теперь дитя заворуженно перебирало сокровища, забыв обо всем на свете. Сама Сквожина угрюмо молчала. Извиняться она не умела, но хотя бы то, что перестала сквернословить и изрекать непристойности, было уже добрым знаком. Большого не требовалось.

Отец Сквожины отдал Богу душу, едва дочери сравнялось шестнадцать. Как сейчас Люкерде. Родной братец, жмот и прощелыга Станек, быстро выжил туповатую и некрасивую девку из дому, не дав ничего из отцова наследства. «Замуж все одно не возьмут – на кой тебе приданое?!» На прощание Сквожина крепко, от души, приложила братца подвернувшимся под руку поленом, да и тот в долгу не остался: кулак у Станека был правильный, мужицкий. Помыкавшись, сирота вскоре прибилась к Ясевой корчме: полы мыть, воду таскать. Подай-прими, дура! Норов ее, склочный и неуживчивый с детства, с годами стал вдесятеро хуже. Всем девка хороша: на лице черти горох молотили, стать лошадиная, гонор сучий. Только здоровьем и наградил Господь: в лютые морозы в одной драной кацавейке к колодцу бегала, мешки трехпудовые таскала, дрова колола – дай Бог всякому. Помнится, по пьяни бондарь Зых ущипнул за ляжку, так потом до зимы за поясницу хватался, кособочился.

Вся корчма потешалась.

Однако же нашелся храбрец, кто не побоялся судьбу бондаря разделить. Вон Каролинка цацками забавляется, мамкино счастье. Люди разное болтали про безотцовщину, а до правды не дознались. Сквожина, едва о дочке спросят, воды в рот набирает. Обычно-то у нее язык – помело, сказанет – беги, отмахивайся. А тут – молчок. Могила. Точно так же Сквожина молчала, когда пороли ее рубежные охранцы, допытываясь: где Ендрих Сухая Гроза прячется? Ты, мол, при корчме, всех знаешь, все видишь – говори! У корчмаря свой интерес иметься может, а тебе что?

Пороли-пороли, да и отступились. Решили, что вообще немая.

– Господин Ендрих, позвольте мне осмотреть вашу ногу. По-моему, у вас вывих.

– Лекарь? – без приязни покосился на юношу Сухая Гроза.

– Ну... в некотором роде.

– Валяй.

Люкерда стыдливо отвернулась, когда Ендрих при помощи юноши начал стаскивать подшитые кожей штаны. Сквожина же, нимало не смутясь, нахально глазела на волосатые, слегка кривые ноги атамана.

– Так и есть, вывих! – радуясь своей правоте, звонко сообщил юноша. – А кости целы. Вам повезло...

– Не мели языком. Можешь вправить – вправляй. Скоро майнцы в корчму пожалуют.

– Я бы попросил вас, господин...

– Джакомо Сегалт к вашим услугам, молодой человек.

– Не могли бы вы его подержать? Да, спасибо. А я займусь ногой. Сейчас будет больно...

– Потерплю. Вправишь, малыш, – озолочу.

Узкие пальцы юноши, проявив внезапную цепкость, обхватили вывернутую ногу Ендриха.

– Ну, с Богом!

Далее юноша действовал на удивление быстро и уверенно. Последовал короткий сильный рывок. Ендрих выругался сквозь зубы, и старый Джакомо на этот раз не стал его попрекать.

– Ну, вот и все. Теперь надо забинтовать.

Атаман шевельнул вправленной ногой, поморщился.

– Ты гляди! Видать, и вправду у лекаря в подмастерьях ходил. Поройся в дальних тюках: там ткани. Бери любую, режь на перевязку. Вот нож, держи.

Из первого вспоротого тюка на свет явилась дорогая парча. Юноше и присоединившемуся к нему Джакомо (последний отчаянно чихал от поднятой пыли) пришлось вскрыть еще три тюка, прежде чем они добрались до запасов крепкого льняного полотна.

– Сколько здесь у папы всего! А я и не знала... – Люкерда растерянно глядела на атамана. Тот не ответил, кряхтя от болезненной перевязки. И вдруг осекся, резко приложил палец к губам. Все в подвале затаили дыхание. Джакомо, вознамерившийся чихнуть в очередной раз, спешно зажал рот и нос ладонью, задушенно крикнул, содрогнувшись.

Приглушенные шаги наверху, над головами. Смутно бубнят голоса. Скрипят, прогибаясь, доски.

Прямо на запрокинутые лица сыплется мелкая труха.

– Там, под потолком, – слышится свистящий шепот Ендриха. – Видишь затычку? Вытащи. Только тихо!

Джакомо с заметным усилием выдернул комок ветоши, затыкавшей крысиную нору или отдушину.

– ...поскакали?

– Да к лесу, к лесу, куда ж еще?

– Не врешь?!

– Зачем мне врать, господин рыцарь! Разбойники – они разбойники и есть. Чистое разорение. К лесу, чет-нечет, погнали, логово там у них, проклятых...

– А народ где? Почему корчма пустует?!

– Так боятся людишки! Вы, мол, осерчаете, пороть велите. Попрятались...

– Ох, хитрая ты бестия, корчмарь! Ладно, тащи вино, мясо, да смотри, шельма, самое лучшее подавай! Поднесешь тухлятину – велю корчму спалить, а тебя на воротах...

– Самое лучшее, господин рыцарь! Сей момент!.. Беги, Мисюриха: винца, винца добрым господам, а я, чет-нечет, колбаски на сковородочку...

Ендрих жестом показал, чтоб Джакомо сунул затычку на место.

– Явились... Ничего, Ясь им глаза вином зальет, они и размякнут. Отсидимся. Ну что, малыш, самое время тебе шум поднимать, чтоб майнцы нас тепленькими взяли. А?

Юноша снова дернулся как от пощечины. Даже в зыбком свете свечи было видно, что на щеках его выступил румянец. Гнев? Стыд?!

– Зря вы так, господин Ендрих...

– Ах, извините-подвиньтесь! А кто нас продать грозился, когда его в схрон брать не хотели?

– Это я с перепугу...

– С перепугу он! У нас с доносчиками разговор короткий. Нож в брюхо и кишки на ветку. Рассказывай, чего ты с маркграфом Зигфридом не поделил?!

– Я... – Юноша смешался под устремленными на него пристальными взглядами. – Мне... мне в плен никак нельзя! Я к вашему князю шел, к Рацимиру Опольскому. Послушайте, ответьте меня во Вроцлав! Вы же можете! Вы наверняка все тропы знаете!..

– У тебя что, золотых амулетов целый мешок? То-то князь обрадуется! Нам – золото, ему – тебя. Последняя, значит, надежда!

– Нет у меня амулетов. Один был – тот, что корчмарю отдал. А насчет надежды... Может, и ваша правда. Только на меня надежда и осталась. Не выстоять ополчанам против майнцев...

– Вы, молодой человек, сведущи в военном искусстве? – саркастически изломал бровь Джакомо Сегалт. – Стратег?! Полагаете, князь Рацимир назначит вас воеводой?

– Вы смеетесь надо мной. Но я должен... я хочу передать князю вот это...

Юноша раскрыл котомку, зашуршал тряпьем. На свет божий явилась шкатулка – потерянная, о трех углах, расчерченная, наподобие трико фигляра, черно-красно-желтыми полями. Краска кое-где успела облупиться, края изрядно побиты. Кроме шкатулки, в котомке обнаружили большие песочные часы.

– Игра, что ли? – с презрением скривился атаман.

Джакомо уверенно кивнул:

– «Тройной Норнсколь». Иначе «Обман Судьбы». Игрывали в свое время... Можно и сейчас развлечься, все равно скучать долго. Вы играете, Ендрих? А вы, юноша? Кстати, не хотите ли представиться собратьям по несчастью?

– Простите... Меня зовут Марцин, Марцин Облаз из вольного города Хольне. Из *бывшего* вольного города. Но это не простая игра. Она принадлежала Бьярну Задумчивому.

– Магу из Хольне?

– Да.

– Ну ты пройдоха, парень! У самого Бьярна игру украсть?! Сперва амулет спер, потом игру?! Или сразу?! Отчаянный, да еще и лекарь... Пойдешь ко мне в ватагу?!

Трудно было понять, шутит атаман, издевается или говорит всерьез.

– Лучше бы я ее действительно украл... – еле слышно прошептал Марцин, потупясь.

– Не украл? А где ж взял тогда?

– Это наследство. Мой учитель Бьярн Задумчивый умер на прошлой неделе.

– Умер? Ври больше! Маги – они по тыще лет живут!..

– К сожалению, вы заблуждаетесь. У мастера Бьярна было слабое сердце... Я это знаю лучше многих.

– Сердце? Ну, наколдовал бы себе здоровья – и всех дел!

– Эх, господин Ендрих! – Марцин тяжело вздохнул. Пламя свечи заколебалось, по стенам колыхнулись причудливые тени, и схрон с людьми на миг показался нереальным: вот-вот потечет туманом и растает. – Не путайте мага с Богом. Целительская магия использует собственную силу целителя. Это вам не заклятия, не укрощение стихий. Своего сердца не вылечить. А я... я только учусь. Учился.

– Сколько ж ему лет было, Бьярну? Пятьсот? Семьсот?

– Семьдесят два.

– Брехун ты, малыш! У меня батька до девяноста прожил. А тут – маг!..

– Вы можете мне не верить, но я говорю правду.

Юноша обиженно поджал губы.

– Прошу прощения, что прерываю вашу увлекательную беседу, но вы, молодой человек, кажется, хотели изложить нам тайну вашего наследства? Зачем вы хотите доставить игру во

Вроцлав? Или надеетесь, что, упражняясь в «Тройном Норнсколле», Рацимир Опольский найдет способ выиграть войну с Майнцской маркой?

– Как ни странно, вы почти угадали, господин Сегалт. Этот «Норнсколле» мейстер Бьярн изготовил в молодости, вскорости после того, как сам закончил обучение у своего учителя. С помощью игры...

Марцин волновался все сильнее, явно колеблясь: рассказывать дальше или замолчать? Голос дрожал, на лбу выступили капельки пота.

– С ее помощью можно переиграть... переиначить что угодно! Любые события, случившиеся в прошлом, можно повернуть вспять! Вообще не допустить войны. Изменить ее ход. Вы понимаете меня?!

– Изменить? А маг твой, значит, взял, да и помер? – с недоверием прищурился Ендрих. – Переиграл бы жизнь нашу грешную, отстоял Хольне, себе лет двести выиграл бы! Темнишь, ученичок...

– Вы все упрощаете. «Тройным Норнсколлем» может воспользоваться любой, кроме его создателя. В руках мейстера Бьярна игра потеряла бы силу.

– Ну так дал бы ее вашему бургомистру! Или воеводе.

– Я предлагал учителю. Но он отказался. Уже когда Хольне пал, учитель думал послать меня к князю Рацимиру. Но медлил, колебался... Я не знаю, почему. Потом я нашел его мертвым. Сердце... И тогда я решил сам.

– Да, маги эти, конечно... Короче, темный лес. Сами не знают, чего хотят. Но ты-то – наш человек! Усыпи майнцев наверху! А мы вылезем, их перережем, лошадей заберем – и в лес. Прямоком к князю Рацимиру, игру твою ему передавать. Давай, Марцин! Колдуй!

– Не могу я, – виновато развел руками юноша. – Я всего три года в учениках. Только дождь вызывать научился, и тот с градом. Град ничего, крупный, а дождь... Учитель смеялся: тебе, Марцин, на ливень злости не хватает! Рохля ты...

– Град – и все?!

– Ну, еще по мелочам... А усыплять не умею.

Атаман сплюнул на пол.

– Так и знал. Языком трепать все горазды, а как до дела – я не я, и кобыла не моя!

– Подождите, подождите! Что, если...

Все взгляды разом устремились на Люкерду, и девушка смутилась, вспыхнула застенчивым румянцем. А потом зачастила, сбиваясь и запинаясь от волнения. Словно боялась, что ее перебьют, не дав договорить до конца.

– Давайте сами попробуем! Сами! Чтоб войны не было! Скажите, Марцин, в вашу игру... В нее любой сыграть может?

– Вообще-то да... – Юноша с удивлением взглянул на дочь корчмаря, как если бы увидел ее впервые. Видимо, подобная мысль просто не приходила ему в голову. Идея доставить игру князю Рацимиру полностью овладела его душой с момента смерти учителя, и ни о чем другом он не помышлял.

– Тогда зачем везти ее князю? Вдруг у нас получится?! А если не выйдет – игра ведь не потеряет силу? Так, Марцин?

– Так.

– Не выйдет у нас – отвезешь игру во Вроцлав!

– Да брешет он все, этот Марцин, – отмахнулся Ендрих. Однако от собравшихся в схроне не укрылось, что глаза атамана возбужденно сверкнули. – Пусть сперва докажет, что он – мажонк. А так... баловство одно.

Суровый атаман не признался бы даже себе, что ему отчаянно, до слез хочется поверить в чудо. С помощью дрянной шкатулки повернуть ход войны вспять, и маркграф Зигфрид нико-

гда не вторгнется на земли Ополя, и останутся живы его, Ендриха, дружки-ватажники, что полегли на рассвете, и...

– Доказать? Чем?! – смешным воробьем нахохлился Марцин.

– Ну хоть чему-то ты выучился? Свечу без огнива зажжешь?!

– Да.

– Зажигай!

Атаман резко дунул, и в схроне воцарилась полная темнота. В ноздри пополз острый запах копоти. Шорох, смутное движение. Капля пламени возникает беззвучно, рождаясь из пустоты. Странная, янтарная, с вертикальной черточкой посередине – словно кошачий глаз. Лишь через два-три удара сердец до окружающих доходит, что огонек горит в воздухе, между сведенных ладоней Марцина.

Юноша подносит каплю к свече.

Фитиль загорается сразу.

– Дядька колдун, дядька колдун! Дядька, колдуй есе!

– Тихо, Каролинка! Услышат злые дяди, придут и заберут тебя. Тихо, доченька...

Сейчас Сквожина совсем не походила на ту горластую склочницу, которая отпускала сальные шуточки и в грош не ставила всех окружающих. Притянув Каролинку, она ласково гладила девчущку по голове грубой ладонью, пытаясь защитить, закрыть, спрятать на груди от напастей, подстерегавших ребенка в злобном и враждебном мире.

– Вот...

Ендрих Сухая Гроза запустил пятерню в курчавую смоль шевелюры. Почесал макушку – и вдруг весело осклабился.

– Ладно, считай, поверил... Ишь, мажонки! Учи, как судьбу переигрывать!

Фигуры были старые, часть – с отломанной головой или верхушкой. Под стать облупившейся и разошедшейся доске-шкатулке. Марцин расставлял их бережно, закусив губу. Джакомо Сегалт внимательно следил за действиями юноши. Потянулся вперед:

– Три цвета? Надо полагать, черный – Майнцская марка, желтый – Хольне и красный – наше Ополе. Можно выбирать любую сторону? Любой лагерь?

– Конечно. Только выбирать надо одну-единственную фигуру. Тогда ненадолго вы станете тем человеком, чью фигуру выберете. И переместитесь назад, в прошлое. Там вы сможете попытаться что-либо изменить, пустив события новым руслом. У вас будет форы примерно два месяца. Мой учитель свободно переместил бы вас на два десятка лет, но я...

– Звучит заманчиво. Я бы, пожалуй, взялся сыграть за...

– Два месяца? Хватит! Турнир! Турнир в Майнце! Черт побери, я знаю, что делать! Любина решил не заявляться в поединники! А надо было... Ох и приложу я этого сукиного сына!

– Дело в другом. Если бы маркграф Дитрих, отец Зигфрида, протянул еще хотя бы пять-шесть лет...

– Я знаю, у бургомистра Хольне есть дочь. Окажись я на ее месте...

– Боже! Как же мне раньше не пришло в голову?! Будь мой учитель чуть-чуть решительнее...

– Мамка, я хочу играть!

– Обожди, доця. Вот закончат взрослые дурью маяться – дадут и тебе в бирюльки потешиться. Тьфу на вас! Прямо как дети малые...

– Тихо! Показывай, парень, как ходить!

– Вы уже выбрали фигуру, господин Ендрих?

– Ну!

Атаман потянулся к доске.

– Стойте! Это делается иначе. Хорошенько представьте себе, что намерены делать на месте избранного человека. Потому что во время игры вы перестанете быть самим собой. Но запомните главное – то, ради чего играете. Итак?

На лице атамана отразилась непривычно тяжелая работа мысли. Помедлив, Ендрих Сухая Гроза с видимым усилием кивнул.

– Тогда хлопните в ладоши над доской. А потом, когда я скажу, коснитесь фигуры.

Узловатые, в буграх мышц, руки Ендриха сошлись в глухом хлопке. Никто так и не понял, куда исчезла с доски большая часть фигур. Горящие глаза атамана были намертво прикованы к фигурке рыцаря в доспехах, со щитом и копьем в руках. Кончик копья давно обломался, со шлема облупилась красная краска, но сейчас это не имело значения. Марцин взял в руки песочные часы на массивной подставке из бронзы, слегка встряхнул и уставился на дутое стекло колбы. Взгляд юноши сделался неживым, тусклым – и люди увидели, как в нижней части колбы взвился маленький вихрь песка. Одна за другой, песчинки все быстрее и быстрее устремились к горловине, в верхнюю часть колбы.

Песок сыпался *наоборот!*

Люкерда охнула и зажала рот ладошкой.

Вместе с обезумевшим песком поворачивало вспять само Время, возвращаясь на круги своя, щедро разбрасывая собранные камни, давая возможность дважды войти в одну реку – исправить, изменить, переиграть... Последняя песчинка юркнула в узкое отверстие. Время остановилось, зависло топором над шеей жертвы, и Марцин поднял застывшее, бледное, словно восковая маска, лицо.

– Скорее, атаман!

– Атаман?! – оскалился в ответ Ендрих Сухая Гроза. – Ну уж нет! На сей раз – рыцарь! Любина Рава, ясновельможный воевода князя Опольского! Держись, собака Зигфрид, я иду!

Крепкие пальцы, больше привыкшие к рукояти меча, сомкнулись на фигурке. В следующий миг «Тройной Норнсколь» исчез. На его месте разверзлось окно, распахнутое настежь, и было хорошо видно, как...

...Лязг, тупой удар оземь. Восторженные крики зрителей. Копье Зигфрида, наследника Майницской короны, вышибло из седла очередного соперника. Добрый удар. Кажется, из бойцов, решившихся противостоять зачинщику, остались двое: Генрик Лабендзь и он, Любина Рава. Остальные уже повержены молодым забиякой. Впрочем, поначалу Любина не собирался участвовать в состязаниях. Но ответить отказом на приглашение маркграфа Дитриха было бы оскорблением. Да и любил воевода турниры. Многих крепкая рука его вышибла из седла, однако соперники обид друг на друга не держали. Силен был дух рыцарского братства, не то что сейчас...

«Старею. Брюзжать начал. В наше-то время и трава была зеленее, и девушки смазливей, и у коров по четыре рога... Неужто к закату твое солнышко клонится, рыцарь? Брось! Какие наши годы! А мальчишка хорош, куда как хорош. Значит, надо с паршивца спесь сбить, пока еще можешь...»

– Рыцарь Генрик Лабендзь из Болеслава!

Ну вот, следующий он. Любина слегка подпрыгнул, проверяя турнирный доспех, сжал и разжал пальцы в латных рукавицах. Нет, все подогнано ладно. Шлем на голову, копье со щитом в руки – и можно выезжать на ристалище. Жаль, радость ушла. Ведь он помнит ощущение праздника, пронизывавшее былые турниры. А здесь, в Майнце, все вроде бы на месте: флаги, плюмажи, доспехи на солнце сверкают, трубы, герольды, дамы платочками машут – а праздник сгинул. Ревность, зависть... Словно туча нависла над ристалищем, гася улыбки, проникая в души струйками черноты.

Воевода знал имя тучи, нависшей над Майнцской маркой и грозящей обрушить ливень на сопредельные земли.

Война – имя ей.

И сердце ее – сердце юного Зигфрида.

Откуда такая уверенность? Воевода удивлялся сам себе. Еще вчера небосклон будущего сиял девственной голубизной, а сегодня Любина проснулся от серного запаха беды. В свое время маркграф Дитрих фон Майнц, отец Зигфрида, был столь же воинственным и неукротимым, как сейчас – его сын. Не раз и не два пытался расширить свои границы, но в конце концов, битый могущественным герцогом Хенинга, уgomонился. Стал миролюбив и гостеприимен. Только Дитрих стар, а наследник жаждет реванша. Достаточно умный, чтобы, наученный горьким опытом отца, не пойти вновь на запад, на Хенинг, – едва у него окажутся развязаны руки, Зигфрид двинет войска на восток. Хольне падет быстро, лишь раздразив аппетит; Ополе продержится дольше. Но без надежных союзников княжеству не выстоять против сильного и богатого Майнца. На заключение союзов нужно время...

Тайный гость, поселившийся в Любине, подсказывал: времени нет.

– А-а-ах!..

Ты гляди! Крепок оказался Генрик Лабендзь: принял удар на щит, удержался в седле. Вот рыцари разъезжаются для следующей атаки... Любина нутром чуял: все решится на турнире в Майнце. Молодой Зигфрид проверяет силу. Когда тебе двадцать два, кровь бурлит в жилах, а голова полна грандиозных замыслов, – победа на арене может быть воспринята как знак свыше. И пламя войны пойдет гулять по городам и землям, пока хищник не обломает себе клыки о более сильного противника.

Так почему бы не уgomонить мальчишку здесь и сейчас?

– А-а-а!..

Все. Генрик Лабендзь из Болеслава повержен.

Пора.

– Рыцарь Любина Рава из Вроцлава!

Руки берут привычную тяжесть щита с копьем, поданных оруженосцами. Глаза смотрят на мир сквозь решетку забрала. Уже выезжая на изрытое копытами поле, слыша призывный рев толпы, воевода подумал: «Мало просто вышибить щенка из седла. Было бы славно отправить его к чертям в пекло. Ах как славно было бы!..»

Мысль мелькнула и исчезла. Странная, злая, чужая мысль.

Трубы.

Противоположные трибуны привычно кинулись навстречу, в ушах – победный набат копыт. Но еще быстрее, чем трибуны, впереди вырастает всадник в сверкающих латах. На лазоревом поле щита когтит змею Майнцкий грифон. Лишь глупец бьется с грифоном грудью в грудь – выше, над краем щита, наискосок и вверх...

Удар. Грохот. На миг у воеводы темнеет в глазах.

Держись! Останься в седле любой ценой!..

Удержался. Конь послушно останавливается, разворачиваясь на месте. Вот он, Зигфрид фон Майнц, – лежит на земле, раскинув руки. Излюбленный удар воеводы – копьем в голову – в очередной раз достиг цели. Юнец повержен. Жив или убит?

Лежащий рыцарь пытается нашарить рукоять меча. Значит, жив. Все равно, после удара Любины он не скоро оправится.

Подбегает один из маршалов турнира. Сквозь гул трибун пробиваются его слова:

– Поздравляю доблестного рыцаря с победой! По традиции турниров победитель имеет право на трофей. Какую деталь доспеха желает забрать благородный рыцарь? Шпору? Латинную перчатку? Пояс?..

Любина Рава смотрит на Зигфрида. Отличный доспех. Богатый. Кираса миланской стали, – «гусиная грудь»! – новомодный шлем-бургиньон с тройным забралом, пластинчатые латы гибкостью превосходят кожаные. И кругом золото: изображение грифона, отделка наручей и оплечий... На любой ярмарке за такой доспех кучу денег отвалят. А земли Равы не приносят подобающего дохода, и князь Рацимир скуп...

– Шпору? Перчатку?! – смеется Любина чужим, краденым смехом. – Ну уж нет! Согласно древним правилам я забираю себе весь доспех соперника! Велите доставить ко мне в шатер!

Он стаскивает шлем, победно усмехаясь прямо в лицо растерянному маршалу.

Дело сделано.

Мальчишка получил достойный урок.

– ...победа! Я сделал его! Войны не будет!

– Ендрусь! Ты герой! Дай я тебя расцелую!

– Люкерда, вспомните о приличиях! Я не могу допустить...

– Нет, он герой! Он все равно герой! Только... Почему мы по-прежнему сидим в этом подвале?!

– Потому что наш уважаемый атаман допустил ошибку. Настоящий воевода Рава никогда бы не сделал этого.

– Чего?

Ендрих ошарашенно моргал, озираясь по сторонам. Он еще был там, на турнирном поле, глядел на поверженного Зигфрида, ухмылялся в лицо маршалу...

Голос Джакомо Сегалта звучал удивительно просто: ни издевки, ни свойственного старику сарказма. Одно лишь искреннее сожаление:

– Рыцарь Любина не посягнул бы на личный доспех Зигфрида. Конечно, откуда вам знать, что обычай забирать доспех побежденного фактически не действует уже добрых сорок лет? Теперь победитель довольствуется лишь почетным трофеем. Поступить иначе означает публично унижить побежденного соперника...

Старик, морщась, запустил длинную руку в грудь добра позади себя. С противным скрежетом извлек кирасу, к которой пряжками крепились гребенчатые, непропорционально большие оплечья.

– Бок надавила, – пояснил он, хотя никто его ни о чем не спрашивал. – Я понимаю вас, Ендрих. Если вы польстились на эту весьма скромную броню, то уж доспех Майнцского наследника... Все-таки вы разбойник, не считите за грубость. Вам просто не могло прийти в голову, что вы наносите Зигфриду кровную обиду. Формально это не запрещено турнирными правилами. Но... Будущий маркграф не простил вам публичного позора. Вернее, не простил рыцарю Любине Раве, воеводе князя Опольского. Мне очень жаль, Ендрих. Нет, мне правда жаль. Ведь вам почти удалось...

В подвале повисло тягостное молчание.

– Черт, ведь я же! Я... – Ендрих угрюмо отвернулся, пряча лицо.

Было слышно, как наверху, в корчме, майнцы принялись горланить песню.

– Что ж, пожалуй, теперь мой черед, – заставил себя улыбнуться приживал. – Есть ведь и другой способ. Если бы старый маркграф протянул подольше... Сыночек наверняка отравил родителя. Или устроил покушение. Но кто предупрежден – тот вооружен. Ах, друзья мои, кем только не приходилось бывать Джакомо Сегалту! Если б вы знали... Зато маркграфом – никогда. Грех не воспользоваться такой возможностью. Я готов, Марцин. Мне тоже хлопнуть в ладоши?

Костлявые, еще сильные пальцы потянулись к фигурке государя.

Голова у фигурки была отломана.

Этим утром Дитрих фон Майнц проснулся с ощущением близости смерти, острым, словно стилет убийцы.

Впервые за семнадцать лет покоя и благоденствия.

«Меня сегодня убьют, – с ужасающей отчетливостью подумал Дитрих. – Меня сегодня убьют, прикончат, отправят к праотцам, и молодой Зигфрид примет корону Майнцской марки. Наследник станет маркграфом, а я стану прахом. Ничем. Зыбкой памятью, призраком прошлого. Не хочу умирать. Не хочу. Наверное, все дело во сне. Это сон разбудил в душе предчувствие гибели». Ночью Дитрих фон Майнц видел события, о которых предпочел бы не вспоминать. Забыть навсегда. И, уж во всяком случае, не воскрешать их по ночам.

Разгром Майнца войсками Витольда Бастарда, герцога Хенингского.

Это случилось давно – наследнику Зигфриду тогда сравнялось пять лет. Это... Впрочем, какая разница: где, когда и как? Вполне достаточно самого факта, что это однажды случилось. И на долгие годы отбило охоту покушаться на границы соседей. Укротило гордыню, умерило жадность и честолюбие.

Иногда маркграф был благодарен герцогу Витольду за урок. И вот...

«Тебя убьют, – шептал тайный гость, без спросу поселившись в душе. – Будь осторожен, старик!»

«Я буду осторожен, – в ответ призыву поклялся Дитрих. – Я не старик. Меня не убьют».

Во время утреннего туалета он внимательно следил за слугами. Никому нельзя доверять. Никому. Моясь в серебряной лохани – маркграф всегда был чистоплотен, – Дитрих сломал руку юной прислужнице, подливавшей теплую воду из кувшина. Показалось: в кувшине девица прячет кинжал, готовясь ударить в спину. Пострадавшая рыдала, закатывая глаза, ворвавшиеся в опочивальню телохранители недоуменно переглядывались, а сам маркграф с трудом успокаивал сердце. Тело еще полно сил – локоть девицы хрустнул подобно лучине в умелых пальцах, – но сердце изнашивалось для подобных порывов.

«Нет, меня не убьют».

Он выгнал телохранителей прочь. Прочь!!! Олухи, тупицы, неспособные отличить покушение от простого господского гнева... Затем, поразмыслив, вызвал начальника стражи и велел заменить охрану. Начальник, умный человек, не стал интересоваться причиной опалы. Просто спросил: заменить – кем? «Можно ли довериться ему?! – думал Дитрих, глядя начальнику в лицо. – Вроде бы предан. Получил рыцарские шпоры из моих рук. Мечтает о баронстве. Или успели купить?! Смотрит прямо, не моргает. Глаза черные... черные глаза-то, ведьмачьи!..» Маркграф велел подать списки отряда Златых Грифонов и наугад ткнул в пять имен. Так вернее. Случайность помешает им совершить задуманное.

Кому – им?

Этого он не знал.

Тебя сегодня убьют, старик. Нет, не убьют.

– Обеспечьте девицу приданым, – приказал маркграф, не глядя в сторону потерявшей сознание служанки. – За счет казны. Моего личного лекаря к ней. Пусть до завтра не отходит. И замуж... выдайте ее замуж.

Лекарь – это правильно. Пусть не отходит. А ко мне пусть не подходит.

От лекарей – главная опасность.

Сердце, успокоившись, билось ровно и мощно. Притворялось молодым.

Сев завтракать, Дитрих потребовал в залу главного повара. Пусть встанет у стола и пробует все блюда, подаваемые возлюбленному господину. Трюфеля. Оленину. Пашитет из зайца. Фрукты. Вино. Фазанов в меду. Перепелов. Рыбу. Хлеб. К концу завтрака повара, готового в любую минуту рухнуть на пол, увели под руки. Сам маркграф, удовлетворившийся лом-

тем свежего хлеба и кубком воды из родника, долго ждал: не отравление ли? Оказалось – несварение желудка. Объялся повар. Фазаны с фруктами, пахнет, щука на пару... Тяжело-вато. Жена позволила себе удивленную улыбку, но, поймав грозный взгляд супруга, осеклась. Наследник, юный Зигфрид, делал вид, что ничего не произошло.

Наследники опасней всего.

Меня не убьют.

Здесь и сейчас – не убьют.

Ехать на охоту Дитрих отказался. И полдня клял себя за это. Да, на охоте легко выстрелить в спину. Или конь подвернет ногу, сбросив всадника в овраг. Но в замке ничуть не труднее ударить кинжалом из-за портьеры. Он сидел в своих покоях, набычась, глядел в стену и, как заклинание, как молитву, повторял:

– Не убьют. Не убьют. Не...

Тонкие кровяные жилки пробивались на щеках.

Комок в горле.

Дышать трудно. Дышать – надо. Я останусь жив.

Из окна он смотрел на плиты двора, на дальний сад, где прогуливалась жена с дочерьми. Хотелось к ним. Хотелось на охоту. Хотелось отбросить удушье страха, но опасность подстерегала на каждом шагу. Держись, старик! Я не старик!! Хотя бы один день... Почему день?! Я еще полон сил! Ты умрешь! Я буду жить долго!..

Подождал к двери и громко крикнул:

– Священника! Позовите моего духовника!

Когда отец Иероним явился – не открывая засова, велел страже обыскать священника. С тицанием, мерзавцы! Оружия при святом отце не обнаружилось, но маркграф, впустив духовника, собственноручно изъясил у последнего веревку, которой монах подпоясывался. Веревку можно исподтишка накинуть на шею. Во время молитвы. Ишь, какая толстая! Придушит и глазом не моргнет, святоша...

– Я хочу исповедоваться, святой отец!

– Благое дело, сын мой...

Во время исповеди духовник нервничал, то и дело со страхом поглядывая на возбужденного маркграфа. Дитрих злился, сбивался, пытаясь, с одной стороны, подготовиться к возможной гибели, очистив душу покаянием, а с другой – усмотреть за крайне подозрительным священником, и в конце концов пинками выгнал отца Иеронима вон.

День казался бесконечным. Бесы колотились в левый висок, делая мир ярко-красным, словно адово пламя. Подписать отречение в пользу сына? Спасись?! Или это лишь обманчивый щит, готовый треснуть от первого толчка?! Жить! Хочу жить!.. Всякий шорох в коридоре грозил обернуться нападением.

Когда под вечер в дверь постучали – тихо, вкрадчиво! – Дитрих фон Майнц схватил со стены дедовский фламберг. Вжался в угол, спиной к стене. Спина должна быть закрыта. Меч тяжелоат, этот двуручник всегда был слишком массивен для низкорослого маркграфа, но клинком такой длины легче удерживать заговорщиков на расстоянии. Пока успеет подмога.

Подмога – ко мне? К ним?!

Держись, старик! Меня не убьют...

В окно ударила арбалетная стрела. Вошла под лопатку, каленым железом проникая в сердце. Туда, где в изумлении – почему? как же так?! – бился тайный гость, выкрикивая назойливое: «Держись, старик! Держись!..»

Держусь, хотел ответить Дитрих фон Майнц.

Держусь за рукоять... за портьеру... за стену...

Все. Большие не держусь.

...юный Зигфрид, в самом скором времени – новый господин Майнцской марки, смотрел на тело отца. Жаль. Так хотелось, несмотря на поздний час, похвастаться охотничьими трофеями. В смерти отец стал прежним: властным и уверенным. Совсем другим, чем провел сегодняшний день – трусливый, испуганный, дергающийся человечешка.

С наружной стороны окна чистил перья голубь, минуту назад ударившийся грудью в стекло.

– ...а-а!.. а...

Джакомо Сегалт судорожно глотал ртом воздух. Побагровевшее лицо старика казалось черным.

– Господи! Джакомо, умоляю... Марцин, спасите! Спасите его!

– Тише! Ради всех святых, тише!

– Успокойтесь, Люкерда. Видите, ему уже лучше...

– В-воды...

– Извини, воды нет. А вот вино сыщется...

Джакомо пил прямо из горлышка оплетенной бутылки. Судорожно глотал, дергая хрящеватым кадыком, заливая вином одежду. Наконец глубоко, с хрипом вздохнул:

– Ф-фух! Отпустило...

– Вы старались! – Люкерда едва не плакала. – Вы так старались, бедненький!..

– И ты все-таки не подписал отречение, старик. Черт, да это был настоящий ад! Я б, наверно, сдох к полудню...

– Жаль, что ваша попытка провалилась, господин Сегалт. Но еще не все потеряно. Пожалуй, я рискну...

– Нет! Теперь моя очередь!

Лицо девушки пылало решимостью и праведным гневом.

– Вы, мужчины, никогда ничего не можете довести до конца! Надо просто убить маркграфа Зигфрида – и никакой войны не будет! Начинайте, Марцин. Я знаю, что делать!

На доске, словно в ответ, шевельнулась резная дама.

От сквозняка, должно быть.

«Сегодня я совершу подвиг», – поклялась Белинда ван Дайк.

Дочь бургомистра вольного города Хольне, обреченная на жалкое прозябание у пальцев и сплетни ровесниц, тайне она всегда была уверена: время для подвига настанет. Однажды придет день, гордый и светлый, позволив шагнуть ввысь, встать вровень с героинями древности, оставив свой след на ступенях бытия. Так пели трубадуры, которых Белинда готова была слушать сутками. Так писали поэты, которых она привечала и подкармливала, невзирая на брюзжанье скупердяя-отца. О, отец! Этот ничтожный, низкий человек, эта гора сала, утес жира, более пекившийся о тугом кошельке, нежели чем о достойном месте в памяти потомков, – он отказался оборонять Хольне! Швырнул в темницу кучку истинных патриотов, согласных умереть на родных стенах! Вместе с себе подобными открыл ворота Зигфриду фон Майнцу и склонился перед поработителем, держа на подушке ключи от ворот!

Интересно, как у такого отца родилась ТАКАЯ дочь?!

Жаль, мама умерла, не открыв дочери сей тайны...

Белинда тайком огляделась. В большой зале ратуши шло пиришество. За столами, вперемежку с захватчиками-майнцами, сидели испуганные члены магистрата, синдики ремесленных цехов, судьи и иные почтенные граждане. Многим кусок не лез в горло, пугая призраком возможной резни. Во главе центрального стола, в кресле с высокой спинкой, украшенной гербом Хольне, восседал не кто иной, как маркграф Зигфрид, скучающим взглядом обводя залу. Оставшись в легком доспехе, маркграф являл собой воплощение отваги и воинственности

предков, – лишь брезгливо оттопыренная губа придавала его молодому лицу налет вульгарности. Холодные, стоячие – змеиные! – глаза Зигфрида теплели лишь в одном случае: останавливаясь на ней, на Белинде ван Дайк, нарочно надевшей сегодня самое открытое платье.

Да, теплели.

Белинда чувствовала это кожей.

Жарко. Смущает гогот пьяных. Подвиг представлялся иначе: красивее, что ли? Впрочем, истинные героини не выбирают, а делают. Сегодня на рассвете Белинда поняла это раз и навсегда. Тайная гостья, поселившаяся в душе, шепнула, что надо делать.

Да, именно так.

«Юдифь же сказала громким голосом: хвалите Господа, хвалите, хвалите Господа, что он не удалил милости своей от дома Израилева, но в эту ночь сокрушил врагов наших моею рукою. И, вынув голову из мешка, показала ее и сказала: вот голова Олоферна, вождя ассирийского войска, и вот занавес его, за которым он лежал от опьянения, – и Господь поразил его рукою женичины! Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла! Ибо лицо мое прельстило Олоферна на погибель его, но он не сделал со мной скверного и постыдного греха!..»

– Пируйте, господа! – Зигфрид фон Майнц встал. На миг в зале стало тихо, хотя маркграф отнюдь не повышал голоса. Просто некий холодок пробежал меж столами. – Пируйте, не стесняйтесь! И простите меня, что покидаю вас в столь раннее время...

«Час настал», – поняла Белинда.

Здесь и сейчас.

Она подняла взгляд на маркграфа. Улыбнулась. Опытно и завлекательно. Теперь отхлебнуть из оловянного кубка. Облизать губы язычком. Медленней. Еще медленней. Эти трусы попрятали жен и дочерей. Трусы боятся за своих трусих. Тем лучше. Тем легче.

– Вы оставляете нас, мой рыцарь? Как жаль...

Пауза.

Точно рассчитанная, выдержанная, словно старый херес.

– А я полагала, что эту ночь проведу не одна...

У него в опочивальне наверняка отыщется меч. Или кинжал. Кровь не станет брызгать – было бы нелепо совершать подвиг в одежде, испачканной красным. А утром Белинда выйдет ко всему городу, держа мешок с головой поработителя. На картине «Юдифь и Олоферн» работы безумного живописца Фонтанальи все по-настоящему: красиво и возвышенно. Без пятен крови и синюшного цвета лица у покойника. И будут греметь колокола собора Св. Иоанна, а трубадуры примутся славить подвиг гордой девицы, и Господь не допустит скверного и постыдного греха, ибо Господь всегда на стороне добродетели!

– Не стану вас разочаровывать, милочка. – Зигфрид фон Майнц приветливо глядел на дочь бургомистра. Рыхлая дуреха нарядилась в самое дурацкое платье, какое ему доводилось видеть. – Гюнтер, прелестной фрейлейн не хочется ночевать в одиночестве. Холодно и грустно. Ты понял меня, Гюнтер? И скажи своим молодцам, что я прикажу повесить всю вашу сотню одного за другим, если прелестная фрейлейн останется недовольна. Ты хорошо понял меня, мой верный, мой разумный Гюнтер?

Гюнтер фон Драгмайн, начальник охраны молодого маркграфа, всегда понимал господина с первого раза.

– ...Нет! Не трогайте меня! А-а-а!..

– Успокойтесь, милочка! Все в порядке, вы здесь, с нами! Это понарошку, все хорошо...

– Да уж, лучше некуда...

– Грязные, потные... Скоты!

– Тише...

– Как он мог! Мерзавец!..

– Тише! Услышат...

Люкерда скорчилась у сундука, содрогаясь от беззвучных рыданий. Присевший рядом Джакомо ласково гладил девицу по растрепавшимся волосам, пытаясь успокоить.

– Марцин, это ты остановил игру? На сей раз все закончилось куда быстрее...

– Да, я.

– Благодарю вас, молодой человек. Люкерда бы этого не пережила.

– Я догадался. – Щеки юноши были пепельно-серыми, и жилка в углу глаза билась рыбой, выброшенной на берег. Чувствовалось: он еле держится на ногах, но странная сила, удивительная даже для самого Марцина Облаза, вставая из глубин души, не позволяла рухнуть в забвение. – Что ж, дело за мной. Мой учитель слишком долго колебался. Извините, мейстер Бьярн, что тревожу ваш прах...

Песок взлетел вверх быстрее обычного.

С трепетом ученик потянулся к массивной башне.

...Бьярн Задумчивый отложил перо и присыпал песком написанное. Чернила совсем свежие. Пусть просохнет. Выбор всегда остается за нами. Всегда... Старый маг удивлялся себе. Еще час назад твердо зная, что любое прямое вмешательство лишь осложнит положение, – Бьярн даже знал, почему! – он вдруг передумал. Решительно и бесповоротно. Надо действовать. Завтра Хольне падет. Скорее всего, никакой осады не будет. Бургомистр Клаас ван Дайк, человек благоразумный, вынесет маркграфу ключи от вольного города. Обрекая горожан на разорение, но спасая от резни. Прошлым вечером бургомистр заходил к магу в гости. Спрашивал: если упрямое ополчение во главе с Рихардом Броозе, старшиной цеха мясников, все-таки рискнет оборонять стены, не сумеет ли досточтимый мейстер Бьярн помочь с обороной? Э-э... дождь, например, огненный. Или, значит, молнии о пяти зубцах. Исключительно на вражьи головы.

Тогда... э-э... бургомистр готов поддержать идею обороны.

– Вы умный человек, гере Клаас, – сказал Бьярн Задумчивый. – Вы поймете. Да, наверное, я бы мог оказать посильную помощь. Но позвольте объяснить, почему я не стану этого делать. Скажите, если вы берете кредит из малозаконных источников, в придачу сомневаясь в своей будущей платежеспособности, – вы же понимаете, что отдавать все равно придется? Только иначе, чем предполагалось.

– Э-э... понимаю, – кивнул бургомистр.

Он был отнюдь не так робок и глуп, каким хотел казаться.

– Гере Клаас, – сказал маг. – Если даже мне, человеку преклонных лет, хватит сил на молнии о пяти зубцах, – согласитесь, мне придется убивать. А всякий член Аальтрихтской Ложки знает: истинный маг избегает убийств. Ибо заключает соглашение с судьбой: посягать на знание, не посягая на жизнь. Каждый сам устанавливает границы отведенных территорий.

– Но вы можете убивать? – спросил бургомистр.

– Да, гере Клаас, – ответил старик. – Могу. Просто тогда я беру взаймы у судьбы, предоставляя ей право ответного хода. Сколько убью я, столько вправе убить она. По своему выбору. Она может это делать или не делать, сегодня или завтра, попадая или промахиваясь, добрых или злых, смеясь или плача... Но ход будет за ней.

Вы хотите сыграть с судьбой на тысячу жизней, гере Клаас? На две? Три тысячи?

– Я сдам город, – сказал бургомистр, беря с вешалки шляпу. – Я не стану вынуждать вас брать взаймы у судьбы. И даже не потому, что вы – мой друг, мейстер Бьярн.

Он умел принимать решения, Клаас ван Дайк.

Завтра Хольне падет. Еще через пять дней Зигфрид фон Майнц двинется на Ополье. Скорее всего, Ополье также падет быстро: при сложившейся ситуации князю Рацимиру не

удастся остановить майнцев. После настанет черед моравских княжеств. Наемники хлынут в армию удачливого полководца. Начнется кровавое половодье. И однажды могущественный Хенинг окажется перед лицом гибели, перестав сдерживать вечный вызов Майнцской марки.

Возможно, судьба укрادкой делает свой ход?

Перекраивая и шивая заново?!

Жажда действия, опрометчивого и решительного, ранее не свойственная Бьярну, вдруг обуяла душу. Словно там поселился тайный гость, переставляя мебель и выметая пыль из углов. Маг почувствовал себя молодым. Наивным – наивность сильна, она позволяет не задумываться над последствиями. По прошествии всего надо будет написать «Похвалу наивности».

Но это – потом.

Бьярн вышел в ночь. Луна жевала край темных облаков, изредка сплевывая желтую слюну на булыжник мостовой. Маг стал в лунный плевок. Посмотрел на тень, распластавшуюся у ног.

– Вставай! – велел он, чувствуя, как сила заполняет его целиком.

Тень поерзала, стараясь не пораниться о края булыжников. Метнулась к стене дома, собралась в плотный комок.

Злобно зашипела.

– Кому сказано? – тихо, без угрозы, спросил Бьярн.

Тень встала на четвереньки. С треском лопнул горб на спине, выпуская кожистые крылья. Ульввинд, дальний гонец, вызвать которого дозволено единицам.

– Лети во Вроцлав. Отнесешь вот это, – маг поднял ларец с «Тройным Норнсколлем», плодом долгих лет труда. – Передашь князю Рацимиру...

Старик замолчал. Тайный гость уже совсем обосновался в душе. Чувствовал себя как дома.

Я молод. Я решителен.

Я знаю, что делать. Здесь и сейчас.

– Нет, – сказал Бьярн Задумчивый. – Ты отнесешь в Ополе меня. Я сам все расскажу князю.

На рассвете следующего дня Рацимир Опольский узнал тайну «Тройного Норнсколля». Восемь человек, восемь доверенных людей, восемь вельмож, полководцев и политиков собрались за доской. Восемь фигур двигались, плетя невидимую паутину, веля прошлому измениться к лучшему.

Еще спустя неделю, когда войска маркграфа Зигфрида наголову разбили рубежных охранцев Ополя, неумолимо двигаясь к столице, князь Рацимир приказал казнить всех восьмерых. Ибо у одного выздоровел неизлечимо больной внук, другой внезапно получил наследство, третий обрел любовь гордой красавицы...

Но первым на площади Вроцлава был казнен Бьярн Задумчивый, старый маг из Хольне. Он не сопротивлялся.

– Ваш учитель, Марцин, был мудрым человеком. Он предвидел неудачу заранее.

– Теперь я понимаю...

На Марцина было больно смотреть. Он весь съежился, осунулся, как никогда напоминая отчаявшегося воробья.

– Черт! Неужто никакого способа нет?! – Ендрих в сердцах ударил кулаком об пол. – Проклятье, я готов продать душу...

– Надо искать переломный момент. Точку воздействия, как говорил учитель. Нет ничего невозможного. Все подвержено изменениям, но мы... Мы или находим не те точки, или совер-

шаем ошибки. Будь нас больше, мы бы могли перебрать множество вариантов и в конце концов... Ведь игра действует! Вы сами видели!

Марцин не замечал, что стоит на коленях и с надеждой заглядывает всем в глаза.

– Мамка, я хочу играть! Там, в окоске, злой дядька. Хочу дать ему по баске!

– Ну что, натешились? Дайте малой поиграть!

– А почему бы, собственно говоря, и нет?

– Я знаю, я знаю, как играть! Надо в ладоски хлопнуть! Мамка, хочу!

– Мы ничего не теряем. Даже если у нее не выйдет...

– Хорошо. Иди сюда, девочка. Стань тут, рядом с доской. Ты знаешь, как дать злому дядьке... э-э-э... по башке?

– Ага! Вот так!

Звонкий хлопок маленьких ладошек. На доске остаются всего две фигуры. Две сиротливые пешки. Красная и черная. Марцин впивается взглядом в часы, песчинки в который раз начинают бежать вверх – и вдруг бледное лицо юноши заливается краской изумления. Песок в нижней части колбы не кончается! Верхняя часть уже переполнена, а маленький смерчик продолжает гнать в горловину бессчетные крупницы: часы, дни, года...

– Быть не может...

Договорить Марцин не успевает. Девочка поспешно хватается черную пешку и прижимает ее к груди.

Окно распахивается настежь...

– Ой, лыцал! Лыцал!

Эльза Фенривер, девочка пяти лет, всплеснула руками. Она была прелестна в новом платье с оборками, с цветами в золотых кудрях. Стоящий перед малышкой пони испугался резкого движения. Вскрикнул, попятился.

Заплясал на месте.

– Стой! Понецка, стой!

Сидя в седле, трехлетний Зигфрид улыбался бессмысленной улыбкой идола, не понимая, что происходит. Сегодня его нарядили в детский доспех с вызолоченным зеркалом. Дали надеть шлем с плюмажем. Привесили к поясу самый настоящий меч. Длинный-длинный, до неба. Ну, пусть не до неба, но все равно длинный. Как у папы. Зигфрид был счастлив. И папа – самый сильный! самый умный! – отошел к кустам роз: любоваться наследником, не мешая сыну наслаждаться триумфом.

Зигфрид был счастлив, даже вылетая из седла.

– Понецка!

Шарахнувшись от Эльзы, пони встал на дыбы. Копыто ударило рядом с головой мальчика. Игрушечный шлем откатился в сторону, висок лежащего ничком Зигфрида впитывал случайную тень – солнце скрылось за пушистым, похожим на собаку облаком.

Белокурые волосы наследника были в песке.

– Стой!

Крик – мужской, властный. Сильная рука поймала уздечку, рывком отбросила пони прочь, на боковую аллею сада. Дитрих, маркграф Майнцский, склонился над сыном:

– Ты ударился? Ты цел?!

Зигфрид перевернулся на спину.

Засмеялся.

Потом подумал, глядя на просиявшее лицо отца, и заплакал.

– ...Мы видели, Каролинка. Ты старалась. Ты очень старалась, ты не виновата, что у тебя не вышло. Ты хорошо играла.

– Я холосо! Холосо иглала! Там злого дядьки не было. Ой, лыцал!.. добленький!.. и лосадка...

– Вот оно как... – поджал сухие губы Джакомо. – Просто играла. Ну, что от ребенка требовать...

– Хоцу лосадку! Хоцу к лыцалу!..

– Двадцать лет! – как в бреду шептал Марцин, с ужасом глядя на готовую разреветься девочку. – Будь она хоть чуть постарше... Господи, почти двадцать лет!

– Чего бухтишь, мажонек?

– Двадцать лет! Она перенеслась на два десятка лет назад! Сама! Она сделала это сама! – Глаза юноши лихорадочно блеснули. – У нее дар! Боже милосердный, такая сила...

– Ну и толку с той силы? Зигфриду все как с гуся вода...

– Может, у князя Рацимира получится? Или еще у кого? Надо пытаться! Надо что-то делать! – Однако в словах Марцина не было прежней уверенности. – Сквожина, попробуйте вы?!

На доске оставалась одна-единственная красная пешка.

Женщина презрительно скосилась на игру.

– Я? Да нешто я пальцем делана?!

– Тс-с-с! – отчаянно зашипел вдруг Ендрих, и все разом примолкли.

Наверху слышались отчетливые, уверенные шаги. Заскрипели доски.

Джакомо, не дожидаясь указаний атамана, извлек из отверстия тряпичную затычку.

– ...пьянствуем, значит?..

Голос пришельца – тихий, вкрадчивый, многообещающий – не сулил отдыхавшим в корчме майнцам ничего хорошего.

– Никак нет, господин барон! Разрешите доложить: мы всю ночь преследовали вражеский отряд. Теперь ждем подхода основных сил его светлости. Мои люди нуждались в отдыхе...

– Через пять минут здесь будет лично его светлость Зигфрид фон Майнц. Извольте заново обыскать корчму. Сверху донизу! Шкуру спущу! Если опять обнаружится очередной народный мститель...

– Слушаюсь, господин барон!

Суматошный топот ног.

– Посиди с дядями, Каролинка. Мамка за тобой вернется.

Встав, служанка решительно шагнула к двери.

– С ума сошла, баба?! Выдать нас хочешь?!

Но остановить Сквожину никто не успел. Женщина всем телом налегла на дверь, снаружи что-то упало. Створка поддалась...

– Держите ее!

Поздно. Сквожина уже оказалась снаружи, захлопнув тайную дверь, и теперь по новой заваливала ее хламом. Джакомо прильнул ухом к хлипкой перегородке. Все молчали. Люкерда беззвучно молилась, по-детски шевеля губами.

...Голоса.

Люди затаили дыхание. Ендрих, оскалась волком, поудобнее перехватил нож для броска.

– Тут кто-то есть! Корчмарь, дай факел!

– Осторожней, добрые господа, пожару не наделайте! Сгорим ведь!..

– Баба! Клянусь муками святого Себастьяна, баба! А ну, иди сюда!..

– Да это прислуга моя, господин рыцарь! Дура, как есть дура... С перепугу в погреб спряталась. Выходь, выходь, зараза, добрые господа тебя не обидят. И пива нацеди, темного «чабрика», из крайней бочки! Ишь, вздумала от работы отлынивать!..

– Посвети-ка, Ронмарк. Больше никого нет?

– Пусто...

– Да кому здесь быть?! Разве что крысы...
– Ладно. Эй, баба, лезь наверх. И ты, корчмарь, тоже...
Шаги. Удаляются. Издалека, глухо – лязг засова.
– Матерь Божья, благодарю...
– Мамка! Хацу к мамке!..
– Иди сюда, Каролинка. Не плачь. Вот, возьми цацку.
– А ведь эта женщина нас спасла. Если бы не она – стали бы шарить, искать...
– Зигфрид! Слышали: сам маркграф приехал! Знать бы, что там сейчас...
Люди смотрели на доску, словно ожидали: окно вот-вот распахнется.
Но игра оставалась безгласна.

Привязанный к седлу, за всадником волочился по земле растерзанный труп.

Сквожина молча смотрела, как подпрыгивает на ухабах тело ее старшего брата Станека. В бороду набилась земля, правое плечо надрублено, глаза, удивительно ясные на залитом кровью лице, бессмысленно глядят в небо. Этого человека она ненавидела больше всего на свете. Ночами молилась о лихой смерти Станека, выгнавшего из дома родную сестру.

Вот, услышал Господь.

«С приданным тебя, девка! – шепнул внутри чей-то голос, очень похожий на бас корчмаря Яся. – Дождалась... Эти уедут, на кой ляд мы им сдались, а тебе, чет-нечет, и хата останется, если не пожгли, и пашня под Замлынской Гуркой, и скотина, и платишко какое-никакое! Любка со Станеком невенчанная жила, значит, не жена она ему... Кинешь сухую кость, пущай радуется, стервь!..»

Голос был прав.

– Что за пададь тащишь, Гернот?

Один из телохранителей маркграфа выступил вперед.

– С топором, гад, кинулся! – весело крикнул всадник, останавливаясь. – Дьерек его бабу на сундуке разложил, так он за топор, падлюка...

– Рыцарь! – расхохотался телохранитель, блестя зубами. – Драконоборец!

И пнул мертвое тело сапогом.

Сквожина безучастно смотрела, как глумятся над покойником. Ночами снилось: в глаза наплюю! Спляшу на могиле! Вот, довелось, спасибо доброму Боженке...

Довелось.

Отойдя к коновязи, она взяла забытые там вилы. Подержала в руках, примериваясь.

И, грузно шагнув вперед, изо всех сил ударила всадника в бок.

– С-сука!

Всадник, оторопев от внезапной дерзости бабы, все-таки изловчился: развернул коня, отмахнулся длинным палахом. Тяжелый клинок угодил по державу вил, сбивая вниз и в сторону; охнул телохранитель, которому острые зубья вспахали голень.

– Ну, тварь! Ну!..

– Прекратить!

Маркграф Зигфрид, выйдя из корчмы, внимательно глядел на творившееся безобразие. Взгляд майнцского властителя был приветлив и радушен. Особенно теплым он становился, касаясь Сквожины. Любящим, можно сказать. Женщина ощутила, как тело под лаской стоячих глаз Зигфрида становится мартовским сугробом: рыхлым, ноздреватым. Черная корка, под которой гниль и вода. Но вил не выпустила. Так и стояла у тела ненавистного брата: молча, держа смешные вилы на изготовку.

Боясь охатъ, хромал в сторонку раненый телохранитель.

Струйка крови пятнала его следы.

– Когда собака кусает, карать следует хозяина, – назидательно сказал маркграф. Казалось, кроме него и Сквожины, на всей земле больше не осталось людей. – Ты ошиблась, мстительница. Вот вилы. Вот я, хозяин. Карай!

– Стой! Стой, дура! Господин мой, она безумная! Она...

Не слушая корчмарских воплей, закусив губу и став похожей на бугая Хлеся, когда тот видел красное, Сквожина ударила. Ясные глаза мертвого брата Станека, подлеца из подлецов, смотрели ей в спину. Жаркие глаза маркграфа Зигфрида, человека, чьи солдаты оказали Сквожине вожденную услугу, смотрели в лицо. Она разрывалась между этими двумя взглядами. Благослови тебя небеса, добрый господин! Чтоб ты сдох, Станек! Впрочем, ты и так сдох... Что я делаю? Зачем я это делаю?!

...делаю.

Она успела замахнуться в третий раз, когда лезвие долхмессера – плоского кинжала с ножевой, односторонней заточкой – вспыхнуло под подбородком.

– Нападающий не бывает мужчиной или женщиной, – назидательно сказал Зигфрид фон Майнц, вытирая клинок о юбку убитой. На грубой холстине, крашенной луковой шелухой и отваром чистоплюйки, пятна крови смотрелись обыденно. – Нападающий не бывает ровней или неровней. Он бывает лишь врагом или мертвецом. Это главное. Все остальное – лицемерие. Готовьтесь, через час выступаем к Особлогу. – И добавил, жмурясь: – Корчму не жечь. Здесь мне доставили удовольствие.

Позже, когда за ушедшими майнцами осела пыль, корчмарь Ясь выпустил всех из тайника. Маленькая Каролинка не плакала. Села возле тела матери, баюкая в руке фигурку «Тройного Норнсколля». Напевала: «Ой, клевер, пять листочков». Закончив петь, поставила фигурку рядом с покойной.

Невостребованная, бессмысленная пешка.

Резной солдатик.

– Что здесь случилось? – дрожащим голосом спросил Марцин Облаз.

Ответ он получил не сразу.

* * *

Котенок, пригревшись на коленях бродяги, смешно извернулся во сне. Обхватил лапами мордочку, заурчал громче. Петер машинально погладил его. Прикосновение к мягкой шерстке было приятным и каким-то ненастоящим.

– Я же не знал, – сказал Петер. – Я же...

– Ты же, – без злобы буркнул корчмарь. – Ты же, мы же, вон из кожи... Оно, чет-нечет, и знать тебе было ни к чему. Нечего там знать. Похожи вы с ним, вот я и раззвонился, старый колокол...

Краем глаза Петер Сьядек заметил, как скупно усмехнулся маг в углу, сидевший сиднем во время всего рассказа корчмаря, – и вдруг с пронзительной ясностью понял: с кем они похожи и кто этот строгий обладатель посоха.

Дверь распахнулась. В корчму вбежала служанка, девчонка лет двенадцати, крепко сбитая, загорелая. На простецком лице странно сияли темные, словно две вишни, глаза.

– Дядька Ясь! А дядька Ясь! Карета с господином Сегалтом проехала по шляху. Передать велели: будут ждать близ погоста, где всегда! Пушай остальные идут! Он уже совсем дряхленький, наш Джакомчик, укачало его...

– Я пошел, – сказал маг, поднимаясь. – Ясь, скажи Ендриху с Люкердой, пусть догоняют. У меня предчувствие: сегодня с Божьей помощью...

Он замолчал, словно усомнился в своих словах или побоялся взглянуть.

- Пойдем, Каролинка. Не будем заставлять Джакомо ждать.
- Ой, пойдете, мейстер Марцин!..

Когда дверь захлопнулась, лютня под столом вдруг отозвалась жалобным стоном. Будто проснулась. Или хотела что-то сказать.

– Ты иди. – Корчмарь старался не глядеть Петеру в лицо. Так бывает, когда наболтаешь лишнего, в дороге или по пьянке, и хочешь побыстрее распрощаться со случайным собеседником, дабы разойтись навсегда. – Ты, парень, иди-ка себе. У меня вечером людей не будет, кому тебе песни петь... Шагай до развилки, там ближе к Раховцу корчма Збыха Прокши – по субботам народу вайлом! Грошей полную торбу накидают... А я тебе хлебца дам. Иди, иди, у меня дел по горло...

– Спасибо, – сказал Петер.

Ясь Мисюр криво ухмыльнулся:

– За кашу? Или за брехню?!

– За кашу – тоже.

Вскоре, оставив корчму за спиной, Петер Сьядек замедлил шаг. «Зря я не ушел сразу, – думал он. – Зря...» Взяся было для бодрости насвистывать любимую балладу о битве при Особлоге – не пошло.

Песня вязала рот оскоминой.

Он вспомнил, как шестнадцатилетним мальчишкой стоял в ополчении: на круче, с выданным копьём. Жалкий, дрожащий. Внизу шла через Бабий брод конница маркграфа Зигфрида. Было ясно: берега не удержать. Железный поток перепыхивал реку поперек, белыми бурунами колыхались плюмажи шлемов, и копейное древко сделалось отвратительно влажным. Напротив, на поросшей ивняком высотке, в окружении телохранителей, сам маркграф наблюдал за продвижением войска. Петер сперва не понял, что происходит, занятый борьбой с собственным страхом. И никто не понял. Откуда взялись бешеные всадники?! Не иначе, сам черт принес, потому что ближнюю дубраву майнцы перед тем прочесали частым гребнем. Семеро конных, диким наметом оказавшись за спиной Зигфрида, на скаку засыпали маркграфа стрелами. Телохранители привычно закрыли господина, сдвигая щиты, но один из них поскользнулся, охнув от боли в ноге, видимо, недавно раненной, – в стене щитов мелькнул просвет, и последняя стрела, пущенная вожаком конных, угодила в шею маркграфу, опоздавшему надеть шлем. Позднее князь Рацимир Опольский простит умелому стрелку все его былые грехи, превратив атамана Сухую Грозу в рубежного охранца Ендриха Кйонку, дав смелому честь и герб, но тогда это не имело значения, ибо один из налетчиков, спешившись, уже рубился с телохранителями, пытаясь добить, достать, дотянуться до раненого Зигфрида, и опытные вояки пятились под натиском, сгорая сеном в пламени пожара. Боец был в чудном доспехе – казалось, он собирал его по частям в притоне мародера или скупщика краденного. За нелепые, громоздкие оплечья нападавшего прозовут Сутулым Рыцарем – но это тоже случится потом. А сейчас конница замешкалась на переправе, страшный ливень с градом, крупным, как голубиное яйцо, налетев с ясного неба, хлестнул по захватчикам, – словно сам Бьярн Задумчивый, добрый маг из Хольне, восстав из мертвых, решил вступить за ополчан! – размывая и без того илистый берег, отчего лошади спотыкались, сбрасывая седоков; крик «Зигфрид мертв! Бей заброд!» раскатился над Особлогой, и князь Рацимир велел трубить атаку. Петер бежал, захлебываясь водой и воплем, совал копьём в чужой живот, снова кричал и очнулся лишь в обозе, где было жарко, хотелось пить и черти в башке плясали огненную козерырку.

Голова по сей день болела, предчувствуя осенние дожди.

– Ну и ладно, – сказал Петер, плохо соображая, что имеет в виду. – Ну и пусть...

На обочине шляха стояла карета. Скучал усатый кучер, временами отхлебывая из фляги. Еще выше, по левую руку, где под темными пихтами отцветал вереск, начинался погост. У одного из крестов вокруг могилы сидели люди. Петер узнал сотника с женой, мага и юную

Каролинку. Еще с ними был глубокий старик, одетый в темно-синее – цвета Опольского дома. Старик сильно сутулился, наклонясь вперед. Все люди не двигались, глядя в одну точку перед собой. Так сидят увлеченные сложной партией игроки.

Петер готов был поклясться, что знает, какая игра лежит на могиле перед удивительной пятеркой.

«Тройной Норнсколь».

«У меня предчувствие, – сказал маг, поднимаясь. – Сегодня с Божьей помощью...»

– Я напишу песню. – Петер Сьядек остановился. Он смотрел на занятых игрой людей, словно надеясь, что те смогут его услышать, оторваться, перестать терзать свои измученные сердца мечтой исправить, самой дивной и самой лживой мечтой на свете. – Честное слово, я напишу песню. Настоящую. Вы не станете браниться, если я буду петь ее где придется? В замки меня редко пускают...

Он закинул лютню подальше за плечо и двинулся вдоль Кичорского шляха.

Насвистывая: «Ой, клевер, пять листочков».

Касыда сомнений

Седина в моей короне, брешь в надежной обороне,
Поздней ночью грай вороний сердце бередит.

Древний тополь лист уронит – будто душу пальцем
тронет,
И душа в ответ застонет, скажет: «Встань! Иди..»

Я – король на скользком троне, на венчанье —
посторонний,
Смерть любовников в Вероне, боль в пустой груди,

Блеск монетки на ладони, дырка в стареньком бидоне,
Мертвый вепрь в Калидоне, – в поле я один.

Я один, давно не воин, истекаю волчьим воем,
Было б нас хотя бы двое... Боже, пощади!

Дай укрыться с головою, стать травой, стать
молвою,
Палой желтой листвою, серебром седин,

Дай бестрепетной рукою горстку вечного покоя,
Запах вялого левкоя, кружево гардин,

Блеск зарницы над рекою – будет тяжело, легко ли,
Все равно игла уколёт, болью наградит,

Обожжет, поднимет в полночь, обращая немощь
в помощь —
Путь ни сердцем, ни на ощупь неисповедим!

Здесь ли, где-то, юный, старый, в одиночку или стаей,
Снова жизнь перелистаю, раб и господин,

Окунусь в огонь ристалищ, расплещусь узорной
сталью,
Осушу родник Кастальский, строг и нелюдим, —

Кашель, боль, хрустят суставы, на пороге ждет
усталость.

«Встань!» – не встану. «Встань!» – не встану.

«Встань!» – встаю. «Иди...»

Баллада двойников

*Неисповедимость путей Господних дарует нам великое благо – благо сомнения. Ибо где нет сомнения, там нет и веры; где нет сомнения, там нет знания; где нет сомнения, там нет милосердия. Но все же: как славно было бы не испытывать этого мучительного чувства раздвоенности! Стоять легче, чем бежать, быть целым проще, нежели разбитым на осколки. Искренне надеюсь, что в размышлениях скромного монаха нет ничего еретического, – и все-таки сомневаюсь, сомневаюсь...
Из записей отца Ремедия, аббата монастыря бенедиктинцев близ Хольне*

*Каково в аду?
Посмотреть
Иду.
Ниру Бобовай*

– Ой, пан шпильман таки не разумеет своего счастья!

– Простите, реб Элия...

– Что простите? Что простите, я вас спрашиваю? – Тощий корчмарь, похожий на ржавую мартовскую тарань, всплеснул руками. Глазки его вылезли из орбит, рот раскрылся, еще более усиливая сходство с рыбой. – Чего мне вам прощать, пан шпильман?! Вы что, устроили *геволт* с погромом? Украл заветный талер моей бабушки Песи, чтоб ей жить до ста двадцати лет?! Ну хотя бы до понедельника!

– Жить до понедельника? Вашей досточтимой бабушке?!

– Вам до понедельника! Вам, пан шпильман! Ой, он такой глупый, что совсем дурак...

– Мне надо идти, реб Элия.

Петер Сьядек иногда сам удивлялся шилу в собственной горячо любимой заднице. Казалось бы, вот оно, счастье! Кормят, поят... Просят играть! Умоляют! Чуть ли не в ножки падают! Нет, сволочное шило мешало усидеть на лавке. Надо идти, понимаешь, а куда идти, зачем идти – леший его маме надвое сказал!

Увы, бродяга знал: начни спорить с шилом – только хуже будет.

– Ему надо! Ой, ему надо! Старый Элия говорит: *швайк*, горлопан! Сиди в тепле, грей *тухес*! Кушай шуку с бураком! Редьку с куриными шкварками! Спи на перине! Ярмарки кругом, мужики пьяные, мужики довольные – дай *ашикерам* толстый кусок счастья! Станут плясать, станут слушать, грошей кинут! С дударем я уже сговорился...

Левой рукой корчмарь задел связку ядреных густо-золотых луковиц, висевших у двери. Связка с грохотом рухнула на пол. Две головки оторвались, заскакали в углы.

– Не обижайтесь, реб Элия...

На четверть авраамит по матери, Петер Сьядек достаточно знал местечковый жаргон, чтоб не нуждаться в услугах переводчика. И хорошо понимал дударя, местного пропойцу Матиуша Гюлля, с радостью согласившегося дудеть в корчме хоть до конца света, не то что до конца ярмарок. Вчера, когда толпа исплясала все ноги, не шибко вслушиваясь в игру музыкантов, когда баллады кончились, и танцы кончились, и лэ, и рондо, и овензек, и потешные куплеты, и смех, и слезы, и хмельной гогот, и визг девиц в платьях с брыжами у шеи, в парчовых фартучках с розами и васильками, в нюрнбергских лентах, и лишь пальцы обжигались о струны, а дудка, припав к вывороченным губам пропойцы, высасывала человеческое дыхание – о, вчера было таким ошеломительно прекрасным, что даже сытный завтрак и обильный

заработок были бессильны сделать нынешнее утро лучше канувшей в небытие ночи! Но шило, чтоб ему пусто! Шило...

Иногда Петеру казалось: обмани он треклятое шило, остановись, задержись на одном месте хотя бы месяц-другой – и бродяга станет домоседом. Перестанет искать вчера и завтра. Увязнет, как в трясине, в неколебимом сегодня.

Изменится – что означает «изменит себя».

Или «изменит себе»?!

Зимой, околачиваясь в хенингском порту, слышал от моряков: есть такие рыбы, которые тонут. Хвост, жабры, чешуя, а вот поди ж ты! Если не плавают – идут на дно. Камнем. Врут моряки, должно быть. Свою судьбу тайком оправдывают. Вон Элия тоже обличьем вроде рыбы. А ни шила ему, ни дна.

Загребает плавниками: корчма да корчма.

Аж завидки берут.

– Ой, пан шпильман!.. Все у него *бекицер*, все пополам...

Обиженно ворча, корчмарь пошел прочь, часто оглядываясь. Видимо, не оставлял надежды уговорить «пана шпильмана» остаться. Петер и сам был бы рад. Последние два года выпали тяжкими, как град на ниву ячменя. Дорога на Вроцлав, будь она неладна, житье впроголодь, столичные скареды, жалевшие грошика для улады ушей, дурная попытка проселками добраться до Раховца, потом до Орзмунда, ссора с подвыпившими коробейниками, расторгавшимися без барыша и оттого злыми как черти, – спасибо доброй бабе из Рыцерики, дала отлежаться в хате! – все это утомило донельзя.

Может, согласиться?

Пиво, щука с бураком... Знай бренчи себе плясовые! А для многолюдной семьи реба Элии в шаббат: «Шум веселый нам ласкает ухо! – в гости к нам собралась вся *мишпуха* ...» Или лучше: «А когда наш дядя Эля ощутил в душе веселье...»

– Вы намерены идти в Хольне, сын мой?

Вздвогнув, Петер обернулся. Монах-бенедиктинец, оседлав табурет у лестницы, ведущей на второй этаж, смотрел на бродягу без особого интереса. Скучно смотрел, тускло. Правда, оставалось неясным: зачем тогда вообще задал вопрос? Монахов вчера было двое: приехали на мулах, попросились на ночлег. Пьяная толпа не смутила святых отцов – съели по миске пшенки, слегка заправленной смальцем, просушили рясы у огонька, да и отправились наверх: спать. Старший из них, седенький аббатик, еще одобрительно кивнул, когда Петер вослед завел жалостную «Господь – моя опора!». Зато второй монах, грузный, похожий на медведя мужчина лет пятидесяти, с самого начала привлек внимание певца. Малоподвижным лицом, скованными, осторожными движениями – словно заново привыкал к телу. Так бывает после тяжелой болезни. Над пшенкой горбился, долго нюхал, прикрыв глаза. Каждую ложку отправлял в рот с опаской, тщательно разжевывая, и казалось, что он ожидает от каши чего-то своего, странного, получая взамен неожиданную сладость. Дважды, слушая потешные куплеты, бенедиктинец улыбался – краешком губ, еле-еле, но не из-за сдержанности, приличествующей духовному пастырю, а из-за тайного подозрения: вдруг улыбка не сложится?

Монах напоминал деревянного идола, голема, ожившего по воле Божьей и теперь все испытывавшего заново. Улыбку, походку, кашу...

– Д-да... Наверное, в Хольне.

– Мы с отцом Ремедием тоже направляемся в Хольне. Скажите, сын мой...

Обращение «сын мой» давалось монаху с трудом. Возможно, не так давно отринул светскую жизнь, ушел от мира в обитель – вот и не привык.

– Я слушаю вас, святой отец.

Петер ожидал чего угодно. Кроме тихой просьбы:

– Вы вчера пели «Балладу двойников». Я никогда раньше не слышал ее. Это ваше сочинение?

– Да, святой отец. Молю о снисхождении, если моя скромная баллада чем-то оскорбила...

Последнюю фразу Петер подхватил, как дурную болезнь, у известного менестреля Томаса Любезника, однажды встретив последнего в Дамме. Только Любезник произносил «Молю о снисхождении...» нагловато, подбоченясь и крутя завитой ус, а у Петра Сядека выходило наоборот: просительно, чуть ли не заискивающе. Вот и повторял к месту и не к месту – хотел научиться, как Томас.

Пока не получалось.

– Ничуть. Дело в другом. Согласитесь ли вы исполнить ее еще раз? Для меня?

– Сейчас?

– Да. У меня нечем заплатить вам, но...

– Что вы, святой отец! Почту великой честью...

Беря в руки лютню, Петер Сядек терзался догадками: чем могла сугубо светская «Баллада двойников» заинтересовать и даже взволновать отрешенного бенедиктинца? В пустой корчме струны звучали гулко, с удивительной силой, и сорванное вчера горло служило легко и послушно, как верный пес. К первому припеву удалось даже нащупать более точные интонации, ранее ускользавшие от внимания. Да, именно так, с нажимом в начале:

– ...левая рука – правую,
Ложь у двойника – правдою,
Исключение – правилом,
Лакомство – отравой.
Огорчаю?
Нет! —
Радую...

Монах слушал, весь подавшись вперед, грозя опрокинуть шаткий табурет. Выбритая на макушке тонзура налилась кровью, будто святой отец держал на плечах мешок с булыжниками. Возле правого глаза билась жилка – синяя, толстая. В сочетании с мертвым, напрягшимся лицом это выглядело страшно. Но остановиться Петер уже не мог.

– ...правая рука – левою,
Шлюха станет королевою.
Трясогузка – лебедью,
Бедность – нивой хлебной.
Отступаю?
Нет! —
Следую...

Когда отзвучал заключительный аккорд, монах долго молчал.

– Благодарю вас, – наконец сказал он, глядя в скобленный яично-желтый пол. – Вы дали больше, чем я просил. Нищий странник, оказывается, способен видеть глубже и яснее, чем многие его коллеги по цеху, раздобревшие на лестии и низкопоклонстве. Спасибо.

Петер моргнул, не зная, что ответить. Вежливость, можно сказать, изысканность речи бенедиктинца смущала, приводя в недоумение.

– Как я уже говорил, мне нечем заплатить. Я бедный инок. Даже мул, на котором я еду, принадлежит обители. Но если вы, в обмен на ваше искусство, согласитесь выслушать от меня одну забавную историю...

Снова полуулыбка – чудная, болезненная.

Ущербная.

Спина монаха выпрямилась, в осанке неожиданно мелькнуло что-то солдатское.

– Я кажусь вам безумцем, сын мой?

– Нет... Ни капельки, святой отец!

– Вам следует научиться лгать, сын мой. Впрочем, неважно.

Прежде чем заговорить дальше, он опять долго молчал. Дольше, чем в первый раз.

* * *

Монах смотрел на стены города. Снизу вверх. Как раньше, шесть лет назад. Он не любил об этом вспоминать, но память – пес-упрямец, плохо обученный беспрекословному подчинению. Серая громада в три человеческих роста. Камни грубо обтесаны. В щелях топорщатся бурые космы лишайника. За годы ничего не изменилось. Помнится, в прошлый раз ему недолго довелось любоваться стенами Хольне снаружи.

Сегодня монах тоже не собирался задерживаться.

Стражники в воротах окинули его равнодушным взглядом: пошлины с духовного сословия брать запрещено, а на переодетого вора монах походил меньше всего. Лишь самый молодой, в нелепом и явно великоватом ему шлеме-шишаке, внезапно сорвался с места. Гремя ржавой жестью лат «на вырост», бухнулся на колени, уронив рядом алебарду:

– Благословите, отче!

Губы монаха тронула едва заметная улыбка. Рука поднялась в крестном знамении.

– Благословляю тебя, сын мой.

Конечно, следовало бы произнести это по-латыни, но в последнее время монах сердцем чувствовал, когда уместно высокое наречие, а когда лучше обратиться к человеку на его родном языке. Главное, чтобы слова твои нашли отклик в чужой душе. А на каком языке они произнесены – так ли это важно, как полагают многие ученые отцы церкви?

Кроме того, он плохо знал латынь.

– Встань, сын мой. И оружие подбери: первый солдатский грех – снаряжение ронять. Ишь, ржавчина! Будь я твоим начальником, накушался бы ты плетей...

Город монах знал плохо. И потому, обождав, пока юнец, в смущении дергая себя за жидкую бородавку, поднимется с коленей, осведомился:

– Кстати, не подскажешь ли: где тут у вас городская тюрьма?

Краснолицый усач-капитан, щурясь, разглядывал гостя. Словно из арбалета целился. Наверняка внешность капитана многих вводила в заблуждение: ни дать ни взять сытый котяра, лентяй, отъевшийся на хозяйской сметане. Морда поперек себя шире, лоснится вся, мало что не треснет, усы щеткой, глазки масляные... Лишь цепкий прищур выдавал в вояке ту еще хватку. Не даром казенные харчи навораживает да жалованье от магистрата получает, ох не даром!

У монаха на таких усачей глаз был наметанный.

– Его честь сейчас в пыточной, на допросе. Обожди здесь, святой отец, отдохни с дороги. Может, вина?

Монах отрицательно покачал головой. Откуда-то из глубины здания донесся приглушенный вопль. Капитан, отвернувшись было голову, с любопытством покосился на бенедиктинца: не побледнеет ли святой отец, не сморщится ли, как от зубной боли? Иной, бывало, в обморок падал...

Однако лицо монаха осталось бесстрастным.

– А скажи-ка мне, отче, что у тебя за дело к господину главному судье?

Капитану было скучно. Капитану хотелось поговорить. А тут новый человек, и не проситель какой-нибудь...

Монах молча смотрел на собеседника.

Поначалу усач спокойно выдерживал этот взгляд, но мало-помалу странное желание начало пробуждаться в вояке. Сперва он даже не понял, но вскоре ощутил со всей ясностью: хочется выкатить грудь колесом и подобрать живот.

Еще хотелось начистить кирасу мелом.

– Меня направил в Хольне отец Ремедий, аббат монастыря Трех Святых. Нам принесли скорбную весть о том, что брат Амбросий, исполнявший обязанности духовника при городской тюрьме, скончался, и магистрат просит прислать ему замену.

– А-а, так вы, святой отец, наш новый черный духовник? – расплылся в ухмылке капитан.

Монах едва заметно поморщился. Прозвище казенных исповедников резануло слух. Впрочем, ничего не попишешь, придется терпеть. Снизу, сквозь толщу камня, вновь пробился слабый вой, похожий на волчий, но теперь капитан не стал вглядываться в бенедиктинца.

– Можно сказать и так. Хотя это не самое лучшее название для должности, которую занимал покойный брат Амбросий.

Сказано было очень мягко, без малейшей злости или раздражения, однако усач смутился, затоптался на месте. Бормотнул скороговоркой:

– Хороший был человек отец Амбросий, царствие ему небесное. Видать, время его пришло. Дряхлый он был – нам бы до таких лет дожить... Что ж, давайте знакомиться. Нам теперь часто видеться придется. Лайош Зиммель, капитан тюремной стражи.

– Отец Игнатий, скромный инок братства Святого Бенедикта. Вы не знаете, скоро ли освободится судья Лангбард?

Капитан Зиммель прислушался.

– Да вроде закончили. Сейчас и поднимется.

Словно в подтверждение где-то рядом гроыхнула дверь, и вскоре в комнату вошел дородный мужчина лет сорока. Камзол темно-синего атласа, штаны из отлично выделанной тонкой кожи. Грудь украшала серебряная цепь с образком св. Лаврентия – отличительный знак судьи в вольном городе Хольне. На чуть оплывших щеках вошедшего медленно гас пунцовый румянец, свойственный скорее больным чахоткой, нежели полнокровным здоровякам. Глаза из-под густых бровей остро блеснули при виде монаха. За мужчиной в комнату проник легкий запах пота и гари, исходивший явно не от самого судьи.

– Уже завершили, ваша честь? – поспешил шагнуть навстречу капитан Зиммель. – А вас тут святой отец дожидается. Новый черный... новый казенный духовник. Из обители прислали.

– Рад, искренне рад вам, отец...

– Игнатий.

– ...отец Игнатий. Жодем Лангбард, глава судейской коллегии. – Судья с достоинством поклонился. – Нас еще вчера известили о вашем скором прибытии. Дом готов, кухарка и прислуга ждут. Я выделю вам провожатого, а к восьми часам вечера приглашаю отужинать у меня. Дела обождут до завтра, сегодня же я хотел бы видеть вас своим гостем. Мой дом на Ратушной площади, любой в городе вам его покажет. Сейчас прошу извинить, мне надо переодеться. Скоро начнется заседание магистрата. Но к ужину я вернусь домой.

– Благодарю, ваша честь. – Монах поклонился в ответ, сложив руки на груди. – С удовольствием приду. Поста сейчас нет, так что...

И бенедиктинец неожиданно подмигнул судье. С лукавством, как старому приятелю. Он сам не знал, что на него нашло: просто понравился этот человек.

С первого взгляда.

Петляя по извилистым улочкам Хольне вслед за писцом-проводатым, отец Игнатий перебирал в памяти все, что слышал от аббата о судье Лангбарде. Одновременно монах не забывал оглядываться по сторонам, запоминая дорогу, – привычка, выработавшаяся с давних пор, когда он жил в миру.

Жодем Лангбард, глава судейской коллегии, слыл человеком суровым и неподкупным. Быть может, даже излишне суровым; однако, по мнению бенедиктинца, лишняя строгость еще ни одному судье не вредила. Скорее наоборот. Покойный духовник, отец Амбросий, по словам аббата, также отзывался о судье со всяческим уважением. Однако все это никоим образом не объясняло мгновенной симпатии, которой отец Игнатий проникся к Лангбарду. Ему определенно был по душе этот человек: правильная, слегка вычурная речь, манера держаться, спокойная уверенность в себе – и легкий налет одержимости, почудившийся монаху во взгляде главного судьи.

«А ведь мы изрядно похожи! Оба крепкие, чуть грузноватые, одинакового роста. Обоим слегка за сорок, и дело у нас теперь будет, считай, общее...»

– Вот мы и пришли, святой отец. Сюда, пожалуйста. Это казенное здание, раньше здесь жил отец Амбросий. Извините, мне пора обратно...

Писец мигом исчез за ближайшим углом, и монах остался один у входа в маленький опрятный домик. Двускатная крытая блестящей черепицей крыша. Узкие застекленные окна по обе стороны высокой двери, к которой вели три ступеньки из вытертого до блеска камня. В конце переулочка за домами виднелась городская стена – жилище тюремному духовнику магистрат выделил на окраине. Впрочем, отец Игнатий отнюдь не стремился к избытку шума и общения.

Дверь открылась с назойливым скрипом, и монах поморщился: еще с той, прошлой жизни не любил говорливых дверей. Надо будет добыть масла, смазать петли.

Внутри царил густой, вкусный запах готовящейся стряпни. Тянуло из кухни, расположенной справа от входа. Однако туда монах решил заглянуть в последнюю очередь. Так, что у нас здесь? Две смежные комнаты, крохотные и аккуратные; кровать из дерева, стол, пара табуретов, полка с книгами. На столе – бронзовая чернильница, подставка с очиненными перьями. Подсвечник. В углу – распятие с горящей под ним лампадой. Раздолье по сравнению с нищетой монастырской кельи.

Что еще? Кладовка. Каморка для прислуги.

Кухня.

– Здоровы будьте, святой отец! А мы уж вас заждались! Сейчас, сейчас я на стол подам... Вам у нас понравится, клянусь муками Господними, непременно понравится! Вон отец Амбросий, царствие ему небесное, чистому сердечку, сколько лет прожил – ни разу не жаловался! Клара с Гертрудой свою службу знают: стряпня, постирушки, уборка... Клара – это я, святой отец. Я и есть. А Гертруда – дочка моя, звездочка...

– Отец Игнатий, – успел представиться монах, сбитый с толку этим словоизвержением, и его вновь накрыл поток речей кухарки Клары. Объявившаяся вскоре Гертруда оказалась тихой светловолосой девицей в сереньком платье. Дурнушка, похожая больше всего на испуганную мышку, она являла собой полную противоположность родной мамаше – завидные телеса Клары едва помещались в тесноте кухоньки. Зато стряпала Клара отменно: действительно, грех жаловаться. Вскоре отец Игнатий с трудом отказался от добавки бобов с подливой, жареным луком и шкварками. Предстоял ужин у судьи, а после Кларинаго изобилия он бы наверняка обидел Жодема Лангбарда полным отсутствием аппетита.

Наконец мамаша с дочкой ушли, дав монаху вздохнуть спокойно: чтобы долго выносить болтовню Клары, надо быть святым. Интересно, как ее муж терпит? Время до визита к судье еще оставалось. Можно было даже прилечь вздремнуть. Однако вместо отдыха отец Игнатий опустил на колени перед распятием. Слова молитвы пришли сразу. Он молился

не по канонам, не заученно-уставными фразами, погребенными в книжных переплетах, – нет, его молитва шла от сердца. Искренне. Оттаивала душа, бежало прочь все наносное и лишнее – раздражение, дразги, усталость, мелкие мирские заботы, сменяясь покоем и тихим светом радости.

Монах говорил с Небом.

И Небо – отвечало.

...Откуда взялся этот человек? Словно вырос из булыжника мостовой, соткался из вечерних сумерек. Отец Игнатий остановился как вкопанный, с острой тревогой ощутив: прошлая жизнь очнулась, заполнив тело целиком. Душа была спокойна, сердце лишь чуть-чуть ускорило бег, чтобы сразу вернуться к обычному ритму, а тело уже готово действовать: шаг в сторону, нырок под возможный удар палкой в голову, а если снизу ножом, то перехватить запястье и...

Бичевание и посты помогали мало. Тело так и не научилось забывать.

– Не бойтесь меня, святой отец.

– Я плохо умею бояться, сын мой. И вряд ли вам удастся научить меня этому искусству.

– Жаль, – задумчиво протянул незнакомец.

Только сейчас монах разглядел, что человек, преградивший дорогу, достаточно молод. Тридцать? Или даже меньше? Строгий костюм цвета корицы, пристальный взгляд и осанка, излучавшая достоинство, делали его старше. Плащ, развевающийся, хотя никакого ветра не было и в помине. Правая рука сжимает палку... короткий посох с резным набалдашником.

Посох?!

– Вы наблюдательны, святой отец. Не как служитель церкви, скорее как солдат. – В сухом, вежливом голосе отсутствовала ирония. – Разрешите представиться: Марцин Облаз, более известный горожанам как Марцин Подкидыш. Маг вольного города Хольне, ученик Бьярна Задумчивого. И мне очень жаль, что вы не умеете бояться. Так будет куда труднее...

– Куда труднее – что?

– Уговорить вас без промедления покинуть Хольне.

Отец Игнатий улыбнулся. Эта странная беседа начинала ему нравиться. Самим безумием своим, бессмысленностью. Перед сном будет что вспомнить. А завтра с утра – забыть.

– Это невозможно, сын мой.

– Вот я и говорю: жаль. Еще минуту назад я надеялся. Тогда попробуйте хотя бы как можно реже встречаться с судьей Лангбардом. Лучше, конечно, не встречаться вовсе. Поверьте, я знаю, что говорю.

– Увы, сын мой. Как тюремный духовник... В конце концов, как гость, приглашенный радушным хозяином на ужин!..

– Вы играете с огнем, святой отец. Символ *фюльгья* – заседланный волк, и змеи служат ему удилами.

– Господь – моя опора и защита. Быть суеверным – грех, сын мой.

Но слово «фюльгья», незнакомое и неприятное, эхом звучало в ушах.

– Хорошо. – Марцин облизал губы, как если бы рот его внезапно пересох. – Оставим суеверия в покое. Просто... Когда научитесь бояться, святой отец, найдите меня. Спросите любого, вам покажут.

Куда исчез маг, отец Игнатий тоже опоздал заметить.

Наверное, очень быстро шагнул в переулочек: тени, ранние сумерки...

– Прошу, святой отец. Господин Лангбард ждет вас.

Как и обещал судья Жодем, дорогу к его дому бенедиктинцу показал первый горожанин, которого монах спросил об этом. Более того, вызвался проводить до крыльца. Так что, когда

часы на городской ратуше били восемь вечера, отец Игнатий стучал дубовым молотком, подвешенным на цепочке, в нужную дверь.

Над входом был предусмотрительно зажжен наружный фонарь.

Вышколенный слуга в ливрее проводил гостя на второй этаж. Судья жил богато: мрамор лестницы застелен ковром из далекой, почти сказочной Зазаманки, на стенах – барельефы с изображением сцен охоты и грешных амурчиков, фламандские гобелены в простенках; литые шандалы-пятисвечники ярко освещали все это, быть может, излишне показное великолепие. Видно, родитель Жодема был обеспеченным человеком: на жалованье главного судьи, хоть оно и высокое, такого дома не выстроишь.

– Вы пунктуальны, как часы нюрнбергца Петера Хейнлейна, святой отец! Прекрасно! Уважаю точность. И в особенности – точных людей. Садитесь за стол, прошу вас.

«Кажется, его честь успел хлебнуть вина», – отметил отец Игнатий, благодаря и усаживаясь напротив судьи. За столом они были вдвоем. Поняв, что больше к ним никто не присоединится, бенедиктинец прочел короткую молитву, благословляя посланную Господом пищу, и гость с хозяином приступили к трапезе.

Окинув взглядом стол, монах сразу дал себе зарок: не чревоугодничать сверх меры! Ибо, озирая пирог с гусиной печенью, бараний бок, запеченный с черемшой, судака, фаршированного по-авраамитски, медовые коврижки и три сорта отличного вина, – трудно удержаться от греха! А надо сказать, что при всех своих несомненных достоинствах отец Игнатий отнюдь не был аскетом, предпочитающим сухие акриды столу, уставленному яствами. Посему из всех сил боролся с искусом: ел степенно, маленькими кусочками и вино прихлебывал без усердия, ибо пьяный монах – зрелище не из благонравных.

Впрочем, захмелеть он опасался и по другой причине. Прошлая жизнь, едва хмель ослаблял путы, норовила прорваться наружу в грубости речи и дурных манерах.

– Я рад, что обитель Трех Святых столь быстро откликнулась на просьбу магистрата. Вам понравилось ваше новое жилище, святой отец? Прислуга? Может, вы испытываете потребность в чем-то? В пище духовной, к примеру?

– Благодарю, ваша честь...

– Полно, святой отец! Мы ведь не в присутственном месте. А я сразу подметил: вам скверно дается обращение «сын мой». Если угодно, зовите меня просто: Жодем. Особенно с глазу на глаз.

– Вы очень любезны, мейстер Жодем. В обители я привык к скромной келье, так что новое жилье в сравнении с ней – роскошное поместье. («А болтливую кухарку Господь, наверное, послал мне во испытание», – подумал монах про себя.) Но вы угадали мое стремление к пище духовной. Признаюсь, что, к стыду своему, плохо знаю латынь, да и с книгами никогда не был накоротке. Я ушел от мира семь лет назад, а прежде, поверите ли, крестом подписывался! Согласись вы снабдить меня...

– Не извольте беспокоиться, отец Игнатий! Вся моя библиотека к вашим услугам – а это, поверьте, весьма обширное угодье. Более того, если будет на то ваше желание, я готов помочь вам усовершенствовать познания в латыни. Ибо скажу без ложной скромности, что владею сим благородным наречием весьма недурно, закончив факультет права Пражского университета и факультет богословия в Гейдельберге. – Низкий голос Лангбарда наполнился гордостью. – И не надо благодарить! Разве помощь ближнему, а тем паче духовному пастырю не есть первейший долг истинного христианина? Однако заранее прошу простить мне, быть может, бестактный вопрос... Кем вы были до того, как посвятить жизнь служению Господу, отец Игнатий?

Бенедиктинец не слишком любил вспоминать прошлое. Как правило, он уходил от ответов на подобные вопросы. Но сейчас тихое умиротворение снизошло на монаха. За окном трепетала удивительно ясная ночь, напротив сидел хороший человек, сразу проявивший живой интерес и готовность помочь во всем, человек, от которого не имело смысла ничего скрывать,

которому – монах был в этом уверен! – можно открыть душу. Отцу Игнатию действительно хотелось быть искренним и откровенным с судьей. Сейчас, в присутствии Жодема Лангбарда, воспоминания о прошлой жизни не вызывали в сердце болезненного отклика, как это случилось обычно.

Слова дались легко:

– Прежде чем стать монахом, я был солдатом. Наемником. Дослужился до капитана. Я был хорошим солдатом, уж поверьте. И неплохим капитаном. Мой отряд отрабатывал двойное жалованье с лихвой. Но однажды я получил знак. Знамение.

Отец Игнатий умолк, отхлебнул вина из кубка. Судья не торопил продолжать, и монах был благодарен хозяину. Этот человек понимал его! Понимал, как, может быть, понимал лишь аббат Ремедий, некогда приютивший капитана Альберта Скулле, убитого в сражении при Особлоге...

– Думаю, потому наш аббат и отправил в Хольне меня, – проговорил наконец бенедиктинец, все еще собираясь с духом. – Я привык к виду крови и людских страданий. Я не побледнею, услышав крик пытуемого, и не грохнусь в обморок, если доведется присутствовать при допросе или казни. Смерть часто проходила рядом со мной, задевая краем савана. Я знаю исходящий от нее холод и запах тления. Вернее, думал, что знаю...

Капитан Альберт Скулле не предполагал, что эта война станет для него последней. Все шло хорошо. Войска маркграфа Зигфрида, к которым его отряд примкнул накануне взятия Хольне, уверенно продвигались в глубь Ополя, не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления. В кошелях наемников звякал щедрый улов, удача улыбалась смелым, и никто еще не замечал в ее улыбке оскала Костлявой.

Битва при Особлоге.

Неожиданная, нелепая смерть маркграфа. Растерянность.

Бегство.

Альберт и его люди не умели бежать. Они отступали. Надеясь пробиться, уйти лесом, а там... Не вышло. Налетели, окружили. Дрались с остервенением, насмерть, самозабвенно продавая жизнь по самой высокой цене. Палаши капитана покраснели от крови, глаза заливали пот и струи ливня. Когда страшный удар копыта пробил латы на боку, он в первый миг в горячке боя не ощутил боли и, кажется, даже успел достать клинком своего убийцу. Потом падал: долго, очень долго. Целую вечность. Ему чудилось: он дерется, кричит, приказывает, лес рядом, рукой подать...

Превратившись в землю, лес-оборотень наотмашь ударил в затылок – но вместо страха пришел покой. Лязг оружия звучал погребальным звоном, вокруг клубился туман, похожий на саван, а когда он расступился, Альберт увидел странную процессию. Раздвигая седые пряди, из мглы одна за другой выходили совершенно невозможные пары, порожденья горячего бреда. Жуткие твари шествовали рука об руку с ангелами в снежно-белых одеяниях, олени с рыбьими хвостами обнимали за талию нагих красавиц, клыкастый заяц ласково вел невинного мальчика.

Все шли попарно: справа – люди, слева – чудовища.

Бал контрастов.

Казалось, прекрасные существа не замечают уродства своих спутников: тонкие пальцы ласкали свалявшуюся в колючую шерсть, нежное плечо прикидало к гнойникам, жабий рот, трепещущий языком-удавкой, сливался в поцелуй с рубиновыми устами, чудная ножка соседствовала с перепончатой лапой, а лик святого – со свиным рылом или птичьим клювом. Пары шли, непринужденно беседуя и улыбаясь друг другу, поддерживая собеседника под локоть, дабы тот не поскользнулся на раскисшей от дождя земле. Дикая смесь запахов: пот и ладан, вонь отхожей ямы и благоухание розария; небесный хор сплетался с дьявольским хохотом, а

пение свирели – с карканьем ворон. Идущие были увлечены разговором (хотя Альберт тщетно пытался уразуметь, о чем они говорят!..) и не обращали никакого внимания на умирающего наемника. Из тумана рождались все новые и новые пары, и наконец Скулле заметил, что процессия постепенно сворачивает, замыкаясь в кольцо, в безумный хоровод, а он лежит в самом центре. Внутренний круг образовывали милые юноши и девушки, скрывая собой внешний круг чудовищ, и внезапно на капитана снизошло озарение. Семь смертных грехов и семь добродетелей окружали его! Только было их не семь – семижды семь, и еще семь раз по семь, и еще, и снова, и опять...

Это был знак, знамение свыше! Ведь недаром добродетели обратились к нему лицом, заслонив мерзость греха! Значит, не все потеряно; значит, еще есть возможность встать на верный путь – и случись чудо, даруя грешнику второй шанс...

Виденье меркло.

Отовсюду наваливалась жаркая, душиная тьма.

– ...Я выжил действительно чудом.

В горле пересохло, и отец Игнатий надолго припал к кубку с вином. Кадык на жилистой шее судорожно дергался.

– Меня подобрал один селянин, из местных, благослови его Господь. Мир не без добрых людей. Выходил, отпоил молоком и травами. Но на ноги я встал другим человеком. Альберт Скулле, бесшабашный убийца, умер там, на поле. Я отдал спасителю все, что у меня было, и явился в обитель Трех Святых. Теперь я – брат Игнатий. До конца моих дней.

Бывший наемник взглянул на судью и обнаружил, что тот буквально застыл, слушая его рассказ, превратился в безмолвную статую и, кажется, даже дышит через раз.

– Что с вами, мейстер Жодем? Вам плохо?

– Нет-нет! Мне... мне хорошо! – Судья с явным усилием разорвал кандалы оцепенения и тоже потянулся к кубку.

– Может быть, вам лучше больше не пить?

– Оставьте, отец Игнатий! Каюсь, иногда я действительно перебираю лишнего, но не сейчас. Просто меня чрезвычайно впечатлила ваша повесть! Дело в том, что лет семь назад со мной произошла очень похожая история. Я свалился в горячке, лекари не надеялись, что выживу. Плохо помню дни болезни: бред, кошмары, редкие обрывки яви... Но одно видение запомнилось очень ясно. И оно почти в точности повторяет ваше знамение! Разве что финал – внутри хоровода, кружащегося вокруг меня, оказались не добродетели в белых одеждах, а мерзкие воплощения грехов, которых вы столь живо описали! От их смрада я буквально задыхался, кольцо дьявольских морд сводило меня с ума. В тот миг я всем сердцем желал умереть, но освободиться. И в итоге очнулся, вопреки ожиданиям лекарей пойдя на поправку. Через месяц меня выбрали городским судьей – тогда еще не главным...

– Действительно странное совпадение, – развел руками монах. – Полагаю, Господь таким образом подсказал вам ваше призвание: бороться со злом и стоять на страже закона?

Жодем Лангбард скупно улыбнулся:

– Вы весьма проницательны, святой отец. Именно так и случилось, хотя я не думал об этом. Но сейчас, сравнивая наши видения... Рад, душевно рад, что мы будем работать вместе. Столь удивительное совпадение не может быть случайностью!

– Согласен, мейстер Жодем. И я тоже рад, что нам довелось встретиться. Я слышал о вас много хорошего. Но мы засиделись, а я привык вставать рано. Благодарю за гостеприимство и увлекательную беседу.

– Не смею вас задерживать, святой отец, – в ответе главного судьи мелькнули нотки сожаления. – Однако я обещал помочь вам с пищей духовной. Надеюсь, вы не откажетесь проследовать в мою библиотеку и выбрать томик-другой для чтения?

– Вы так добры... Разумеется, я следую за вами! Кстати, осмелюсь, в свою очередь, задать нескромный вопрос: а где ваша досточтимая супруга? Почему она не ужинала вместе с нами?

– Белинда умерла четыре года назад, – глухо, но отчетливо произнес главный судья. Голос его стал бесцветным, кровь отхлынула от щек.

– Простите, я не знал...

Судья в ответ только махнул рукой (пустое, мол, забыли!) – и, взяв подсвечник, двинулся вперед, показывая дорогу. Со спины мейстер Жодем неожиданно показался монаху дряхлым стариком. Ссутулившимся, больным, глубоко несчастным человеком.

– Ох и ранняя вы пташка, святой отец! Вчера, видела, отправились куда-то на ночь глядя, а сегодня ни свет ни заря уже на ногах. Это вы по монастырскому обычаю или как?

– В обители братия встает рано. – На самом деле отец Игнатий еще пребывал в дреме и потому плохо шевелил языком. – Да и от мейстера Жодема я вчера вернулся не слишком поздно...

Соображай монах спросонья хоть чуточку лучше, он, конечно, не стал бы ничего пояснять любопытной кухарке, прекрасно понимая, что любая опрометчивая попытка поддержать разговор мигом вызовет новый приступ красноречия Клары.

Так оно и оказалось. Однако на сей раз, как ни странно, отец Игнатий слушал Клару с интересом.

– Золотой человек господин Лангбард, верно говорю, золотой! Натерпелся в свое время – злейшему врагу не пожелаю! Когда майнцы в Хольне вошли, они с невестой его, дочкой бургомистра нашего, такую беду сотворили, не приведи Господь! А поди вступишь, замолви словечко, – порубят ведь, ироды! Сам бургомистр на коленях ползал, большой выкуп сулил, лишь бы смиростивились над бедняжкой... Белиндочка, душенька, после того умом тронулась. А господина Лангбарда горячка свалила. Думали, не жилец. Только встал он и на Белинде женился, как обещал, хоть она уже и родного отца не узнавала-то! Честней господина Лангбарда поискать! Даром, что ли, воры-грабители, а пуще всего насильники окаянные его как огня бояться! Когда Белиндочка года через три зачахла, горевал он сильно. Пить взялся... А не спился вконец, ровно забулдыга какой! Бургомистр наш уважает его очень, души не чает. Если что – горой за зятя. Да и как иначе? С правильным человеком вы дружбу свели, отец Игнатий: с душегубцами лют, со своими – душевный, ласковый, таких поискать...

– Спасибо, Клара. – Монах был совершенно искренен. – Вы правы: судья Лангбард – действительно очень хороший человек. Я сразу это почувствовал. А теперь мне надо идти.

– ...Господь милостив, сын мой.

– Отец! Отец мой! Скажите ему: пусть больше не велит жечь мне ноги!

– Судье Лангбарду?

– Да! Да! Я покался! Я...

– Мне понятны твои страдания, сын мой. Но ты кричишь: я! я!!! Задумайся, кто ты есть: бесчестный дезертир, волей судьбы угодивший в дурную компанию. Вы грабили, насильовали, вы убивали, смеясь. Да, Господь милостив – но люди злопамятны, сын мой, и у них есть на то веские основания...

– Но я сознался!

– Ты сознался. Это правда. И я принял твою исповедь. А теперь войди в положение судьи: твои сообщники бродят на свободе, и ты отказываешься назвать их имена, указать место обитания. Скрепя сердце господин Лангбард вынужден отдавать приказы палачу – во имя спокойствия честных людей.

– Нет! Отец, ему просто нравится жечь мне ноги!

– Не говори глупостей, сын мой. Выдай сообщников и сам увидишь: пытки прекратятся.

– Я не могу! Я не стану предателем!

– Да, предательство – подлость. Но так ли подло отдать убийц и насильников в руки правосудия?

– Отец Игнатий, пора, – вмешался тюремщик Клаас, отпирая двери снаружи.

– Нет! Не оставляйте меня! Когда я говорю с вами, святой отец, я чувствую, как остывают сковородки пекла...

«Глупый, несчастный мальчишка, – думал монах, ожидая в коридоре, пока Клаас запрет темницу. – За две монеты и кружку вина подписался у вербовщика, в первом же бою струсил, бежал, угодил в шайку головорезов... Хотя, скажи я родичам его жертв, что этот бедолага достоин сострадания, боюсь, меня неправильно бы поняли. Надо будет обратиться к Лангбарду с ходатайством...»

Долгий протяжный вопль заметался по коридорам. Вскипел булькающей пеной, хрипом, бессловесной мольбой.

Захлебнулся отчаянием.

Отец Игнатий привык к крикам пытаемых, но такое он слышал впервые. Казалось, кричат не в глухих подвалах пыточной, а рядом, за ближайшим поворотом.

– Совсем озверел, – буркнул тюремщик, гремя ключами. – Пойдемте, святой отец, я провожу вас...

– Что это?

– Их честь Бутлига Хромого допрашивает. Фальшивомонетчика, с Пьяного Двора. Небось на «резной гроб» велел посадить голого.

– Он что, не сознается?

– Какое там! Еще вчера во всем признался и молил о пощаде. Дружков с головой выдал...

– Тогда зачем пытка?

Жирный тюремщик криво ухмыльнулся, надув щеки пузырями.

– Он и раньше-то чудил, наш душка Жодем. Поначалу тихий был, осторожный, а как его главой судейской коллегии выбрали, видать, во вкус вошел. Пытуемый уж и молит, и кается, а он велит: добавить! Дальше – больше: едва вы, святой отец, в Хольне переехали, так он вконец осатанел. Еле хоронить успеваем. Не сердчайте, это я вам с глазу на глаз, по совести – вы человек Божий, добрый...

Было ясно: ни с кем другим Клаас не станет обсуждать поведение главного судьи даже с глазу на глаз. Просто за истекшие три месяца работы черным духовником отец Игнатий снискал всеобщее уважение. Спокойный, доброжелательный, он делал свое дело мастерски, рождая раскаяние в душах самых закоренелых грешников. Тайный свет исходил от бенедиктинца, свет человека, не брезгующего окунуться с головой в клоаку, если там можно спасти тонущего щенка. Дважды его приглашали в церковь Св. Павла – читать проповеди. Стечение народа превзошло все ожидания, а когда монах закончил простую, доступную речь словами: «Вот стою я, последний среди вас, надеясь на милость Господа...», – народ разразился слезами и благодарственными кличами, спеша бросить в чашу подаваний монетку-другую. Во время мятежа солдат-наемников не кто иной, как отец Игнатий, самолично явился в казармы на Малой Конюшенной, с порога рывкнул медным хайлом: «Встать, сволота! Смир-р-на!» – и без перехода продолжил, кротко глядя на выстроившихся бунтарей: «Я понимаю ваше возмущение, дети мои! Задержка жалованья – нож в спину солдата. Но не спешите искать виноватых...»

Мятеж угас в зародыше, а пристыженный бургомистр помимо жалованья за два месяца выплатил солдатам надбавку.

– Эх, отец мой, сказал бы я вам еще, да своя рубаха, сами понимаете...

Из-за угла вывернул донельзя рассерженный палач Жиль. Наградил оплеухой семенившего рядом подмастерья, наскоро кивнул тюремщику с монахом.

– Чего там, Жиль? – вослед крикнул Клаас.

– Чего, чего... Разве можно работать, когда у тебя то кнут из рук силком выдирают, то жаровню?! Пушай тогда денюжат подкинет за вредность!

– Кто?

– Да кто ж, кроме ихней чести! Бутлиг под кнутом в насилии сознался. Дескать, взял без ейной воли нищенку Катарину, что под ратушей клянчит. Так ихняя честь кнут у меня вырвал и давай сплеча охаживать. Самолично. Глаза горят, весь красный... Потом веник в жаровне поджег. Думаю, помрет Бутлиг-то. Лекарь говорит: сомлел, чуть дышит. Я спрашиваю: до завтра дотянет? А лекарь кряхтит...

– Вы пробовали подать жалобу бургомистру? – вмешался отец Игнатий. Он плохо представлял вежливого, изысканного Жодема Лангбарда с кнутом в руках, но не доверять палачу с тюремщиком также не имел оснований.

– Эх, святой отец! Сразу видно: вы у нас гвоздь новенький, острый... Бургомистр ван Дайк за бывшего зятя любого сгноит! Да и за кого заступаться? За ворюг? За насильников?! Иди жалуйся, если в башке петухи поют! А у нас семьи, детишки малые...

«Вы играете с огнем, святой отец. Символ „фюльгья“ – заседланный волк, и змеи служат ему удилами...»

Внезапно вспомнив слова мага Марцина, монах удивился причудам собственной памяти. Но следом, пронзив холодом, вдруг явилась цитата из Писания:

«И объяли меня воды до души моей...»

Народа вокруг помоста было мало.

Отец Игнатий еще укорил себя, что плохо думал о жителях Хольне. Полагал: смотреть на казнь соберутся во множестве. Оказалось, редким хольнцам пришло в голову любоваться смертью глупого дезертира Янека, да и те в основном явились по долгу службы или случайно проходили мимо. Мелкий дождик плясал на брусчатке. Тучи – рыхлые, обложные – медлили сорваться настоящим ливнем. Поодаль, окруженные слугами с раскрытыми зонтами, скучали бургомистр, два члена магистрата и судейская коллегия во главе с Жодемом Лангбардом. В свинцовых глазках бургомистра плавилось откровенное, высшей пробы желание как можно быстрее покинуть площадь.

Приговоренный каялся.

Он уже давно сознался во всех грехах и выдал сообщников. Правда, последних не удалось взять живыми, но в том не было Янековой вины. Так, сейчас он попросит прощения у земляков, потом наклонится вперед, и монах даст бедняге причаститься святых даров.

Белые сухие губы ткнулись в облатку.

Рука палача Жилия опустилась на костлявое плечо.

Теперь судья Лангбард объявит публично, что раскаяние позволяет даровать казнимому легкую смерть, заменив колесование повешением. И через пять минут настанет время идти в тюремную часовню: молиться за грешную душу. Монах сердцем чувствовал: молитва выйдет искренней и светлой, как апрельское утро. Вот главный судья делает шаг вперед – слуга опаздывает протянуть зонт, и капли дождя слезами текут по щекам мастера Жодема. Словно пытаются смыть яркий, противоестественный румянец – пытаются и не могут.

– Приступайте!

Палач медлит. Он еще ждет приказа. Другого приказа. Старый мастер заплочных дел, поседевший в пыточной, он не в силах поверить: оглядывается на дощатое колесо, на дубины, на прочие атрибуты колесования. Поднимает глаза на тоскливую петлю, набухшую от воды и разочарования.

Рядом мнутса подмастерья.

Бессмысленно раскачиваясь, стоит на коленях казнимый.

– Я сказал: приступайте!

Скука во взгляде бургомистра ван Дайка сменяется недоумением. Но он молчит. С показным равнодушием. Судья Лангбард лучше знает, что делать. В конце концов, дезертир, грабитель... Подонок общества. А милосердие – прерогатива Господа. Если ему будет угодно, для Янека откроются врата рая. Один из членов магистрата громко сморкается в платок. По возвращении домой придется выпить горячего вина с пряностями. Иначе простуда обеспечена.

На лицах судейской коллегии – тучных, обрюзгших – одинаковое выражение.

Мне что, больше всех надо?

И – полыхает румянец на щеках главного судьи, мало-помалу захватывая скулы, лоб, нос... Пунцовый лик. Трепещут ноздри. Бьется синяя жилка у виска. Воплощенное торжество. Маска идола над кровавой жертвой.

Ступени скрипнули под ногами.

Отец Игнатий брел, шел, бежал прочь от проклятого помоста, шаркая подошвами сандалий о булыжник мостовой, а ему все казалось: скрип. Дьявольский, насмешливый скрип под ногами. Вниз, вниз, глубже, в самое пекло. Каково в аду?! – посмотреть иду... И ужасней скрипа, ужасней вердикта судьи Лангбарда, стократ ужасней убитого в зародыше милосердия было другое.

Свет в душе монаха не иссякал.

Напротив – сиял ярче! Еще ярче!

Никогда он не был так близок к Небу, как в эту минуту. Дезертир Янек раскаялся. Вчера они вместе молились в темнице. Вне сырых стен, вне затхлой духоты – в горних высях. Удалось уговорить несчастного выдать преступных сообщников. Бедолага исповедался. Причастился. Все остальное – мишура. Почему мирская грязь должна обременять ушедшего от мира?! Почему?! Если душа поет, и за тучами видны снежно-белые одеяния ангелов, и хоровод кружится...

Счастье билось в висках, мешая думать.

– ...Вам плохо, святой отец?

«Хуже. Мне хорошо», – едва не ответил бенедиктинец. Остановившись, долго смотрел на озабоченную тетку, задавшую вопрос. Поставив кошелки наземь, тетка моргала, не понимая. Ничего не понимая. Ничего!

«Вы играете с огнем...»

– Скажи, дочь моя... Где расположен дом некоего Марцина Облаза?

– Мага? У Рыбного канала, отец мой. Там еще две горгульи сидят, махонькие... Вас проводить?

Жилище молодого мага нашлось как по заказу.

Отец Игнатий втайне удивлялся: свернул от набережной в проулок, и вот он – аккуратный, словно кукольный домик, слегка напоминающий казенное жилье самого монаха. Две горгульи из пористого камня, вместо того чтобы сидеть под крышей и служить водосточными желобами, почему-то расположились по обе стороны входа. Маленькие твари, клыкастые демоны, грустные привратники. Монах взгляделся. Создавалось впечатление, что между горгульями стоит кривое зеркало: правая тварь – ласковая, милая, левая же статуя – зло во плоти.

Но чем дольше ты смотрел на горгулий, тем больше путался. Левая – зло? Или правая?! Нет, все-таки левая, хотя...

– Я ждал вас.

Появление мага из дверей отец Игнатий прозевал. Марцин Облаз выглядел скверно: кончик носа, а также глаза покраснели, шея укутана теплым шарфом, и поминутный если не кашель, то чих. Сейчас маг выглядел совсем юным и очень несчастным.

– Заходите.

Оказавшись вскоре в крохотном кабинете, монах с удивлением отметил крах ожиданий. Никаких шаров из хрусталя, алхимических реторт и тиглей. Отсутствовали мумии крокодилов и лжерусалок. Не было карт Таро. Скромная, почти аскетическая обстановка. На столе – «Свод сентенций», раскрытый посередине, и «De praedestinatione et libero arbitrio» Гонория Отенского.

– Изучаю, – правильно понял монаха Марцин. – Иногда требуется. Нам с вами не повезло, святой отец. Это у господина Лангбарда – образование. Это он в состоянии отличить теологию мистическую от схоластической и их обеих – от теологии канонической. А у нас с вами за плечами лишь война и странствия. Что ж, каждому – свое.

– Зачем вам теология? – хрипло спросил бенедиктинец.

Маг чихнул, смешно зажав пальцами кончик носа, потом, словно желающий вырасти ребенок, потянул себя за уши вверх. С укоризной качнул головой:

– А зачем вам я, мой дорогой пастырь? Впрочем, оставим. Повторяю: я ждал вас. Да перестаньте оглядываться: здесь я живу! А работаю в Западной башне: там вам и крокодилы, и переплеты из кожи девственниц... Горяченького хотите? Ну, как хотите, а я выпью.

И надолго приник к кружке, стоявшей сбоку, на треножнике из бронзы.

– Я...

Отец Игнатий сам не понял, как у него родилось:

– Я научился бояться. Теперь очередь за вами. Рассказывайте.

– Мг-м! – булькнул молодой маг. Откашлялся. – Да я, в сущности, не великий знаток. Мой учитель, увы, умер, когда я был совсем мальчишкой. Потом – война. Не удивляйтесь, отец мой, но при Особлоге мы вполне имели шанс встретиться... Несколько лет странствий. Учился где получалось. В Гранаде, от мавра аль-Мурали, узнал о существовании «Абд-ан-Кутб», Рабов Полюсов, иначе – Двойников. Наши земляки зовут их Доппельгангерами, северяне – «фюльгья». И от страха сочиняют кучу легенд, затемняющих смысл. Но есть там истинное, более чем явное зерно: встреча двух «фюльгья» лицом к лицу не приводит к хорошим последствиям. Садитесь, святой отец, разговор у нас пойдет долгий...

Судя по дальнейшим словам Марцина, умница-мавр полагал, что всякий человек на земле имеет своего двойника. Речь шла не о внешнем подобии, хотя двойники часто бывали сходны обличем. Суть крылась в другом: в поступках и чаяниях каждого из удивительной пары было нечто создававшее странное, неисповедимое равновесие. И посему судьба чаще всего разводила таких людей в разные стороны.

– ...никто из мудрецов не заподозрит скрытой связи, если лудильщик Хасан в Багдаде подаст нищему медный дирхем, а сапожник Густав в Хенинге отвесит тумачов ни в чем не повинному соседу. Но, согласно взглядам аль-Мурали, это вернет в устойчивое состояние весы, о существовании... – нет! – о *смысле* существования которых мы можем лишь догадываться. Маленькое добро и маленькая злоба. Крохотное милосердие и ненависть размером с горчичное зерно. Но гирьки тоже не всегда должны быть огромны! Обычно противоположные качества двойников слабо выражены, хотя случается, что колебания, усиливаясь, достигают опасного размаха. Как в вашем случае, святой отец. Я не уверен, что аль-Мурали прав и действительно каждый человек имеет двойника, но сейчас трудно ошибиться. Знак вашей связи с судьей Лангбардом мог не заметить только слепой...

Марцин запнулся. Беспомощно развел руками: ну, вы меня понимаете!

– Кто из нас был первый?! – выдохнул отец Игнатий.

– Вы имеете в виду – чьи побуждения и поступки являются главным толчком? Первоосновой?! Вынужден разочаровать вас: выяснить это невозможно. Скорее всего, ваши послы равностенны. Просто семь лет тому назад капитан наемников Альберт Скулле решил обратить взор к небу, найдя душевный покой в молитве и творя добро, а милейший господин Лангбард, отворачивавшийся, когда ему доводилось проходить мимо мясных рядов, вдруг стал суровым

судьей, получающим удовольствие от пыток. Вам нельзя находиться рядом, святой отец. Наверняка вы оба испытываете друг к другу искреннюю симпатию. Но размах маятника увеличивается. На весы падают все более тяжелые гири. Не сомневаюсь, что вы сумеете сделать много добрых дел. Просто любое из них отзовется жаровней и кнутом в пыточной мейстера Жодема. Становясь святым, вы делаете его дьяволом. Становясь дьяволом, он делает вас святым.

Монах шагнул вперед и схватил мага за одежду. В лице бенедиктинца проступил солдат: подписывающийся крестом, но способный на молниеносные решения.

– Как мне жить с этим?!

– Не знаю, – честно ответил Марцин Облаз.

– Кто?! Кто виноват?!

Маг пожал узкими плечами:

– Это ведь вы монах, отец Игнатий. Вы, не я. Вам лучше знать, кто виноват...

И надолго закашлялся, видя, как солдат вновь уступает место монаху.

Этой ночью отец Игнатий спал плохо. Нельзя сказать, что кошмары мучили, – просто ворочался с боку на бок, проваливаясь в мутную дрему, выныривая в объятия тоскливой бессонницы. Позже все-таки забылся, увидел сон: глупый, незапоминающийся, но пугающий, как состояние души, в котором монах пребывал весь вечер.

Хоровод.

Кажется, он кружился в хороводе, обнимая каменную горгулью, но...

...проснулся от тихого поскуливания. За окном едва-едва начало сереть, по улице ползли влажные пряди тумана. Монах зябко поежился, слезая с кровати. Бродячий пес приبلудился? Подкидыша оставили у дверей?!

Это был не пес и не подкидыш. На кухне, бессильно привалившись к печи и зажимая себе рот ладонью, рыдала Клара. Еще недавно пышное, сейчас тело женщины выглядело мешком с мокрым зерном. Кухарка очень старалась не шуметь, чтобы не разбудить бенедиктинца, но, как оказалось, тщетно.

– Что случилось, Клара? Вас кто-то обидел?

– Труди, девочка моя!.. Звездочка... – выдавила женщина сквозь рыдания, страдальчески морщась.

– Заболела?!

– Нет! Ведьма, говорят! В тюрьму забрали... Донос, клевета!..

И вдруг упала в ноги монаху:

– Спасите ее, святой отец! Невинная она, честная! Спасите, вы можете!

– Встань, дочь моя. – Слова давались отцу Игнатию с трудом. – Не на людей уповать надо – на Господа. Если дочь твоя чиста пред Небом...

Он не верил сам себе. Сказанное оборачивалось мерзкой ложью – даже не во спасение, а так, во имя мертвых канонов. Зато привычное умиротворение, искренняя вера в Божий промысел, возникшие сразу, выглядели и вовсе кощунством. Зачем понадобилось обвинять в ведьмовстве тихую мышку Гертруду?! А впрочем... Ведьма в услужении у казенного священника? Видимо, кому-то в Хольне пришлось не по нраву толки о праведности скромного бенедиктинца. Возревновали. Опорочить легко, отмыться куда труднее. Ясно представилось: мышка Труди в застенках, он, черный духовник, молится вместе с ней о спасении, рождая восторг, чистосердечие, открывая голубизну неба за тучами, уверенность в милосердии Господа...

Обратная сторона медали – лицо мейстера Жодема. Лик идола над жертвой.

«Становясь святым, вы делаете его дьяволом».

Отец Игнатий почувствовал, как давно умерший Альберт Скулле возвращается из преисподней.

– Когда начнутся допросы?!

Клара сперва вновь забилась в истерику, но наткнулась на жесткий, бесцветный взгляд монаха и подавилась всхлипом.

– За... завтра утром. Господин Лангбард, самолично...

– Время еще есть. – Отца Игнатия не удивило, что кухарке известен срок начала допросов и имя судьи, ведущего дело дочери. Небось кинулась следом в тюрьму, вымолила-выспросила, что смогла. – Клара, слушай меня внимательно. Я попробую помочь. Ничего не обещаю, но попытаюсь. Для этого мне, возможно, придется отлучиться дня на три-четыре. Молись за свою дочь и верь в справедливость Небес. Господь не допустит страдания невинных! И будь я проклят, если...

– Святой! Святой, праведник! – шептала женщина вслед, когда монах вскорости сбежал с крыльца и исчез в тумане.

Надежда во взгляде кухарки умывалась слезами.

Рейтар Пауль Астерсон вразвалочку шел по Горшечному въезду. Паулю было хорошо. Во-первых, ему вчера выдали жалованье, и большую часть он еще не успел пропить. Ишь, бренчит в кошеле! Во-вторых, с утра пораньше удалось сполоснуть душу кувшинчиком славного винца, и теперь рейтар предвкушал целую вереницу таких кувшинчиков. Дайте только добраться до заведения Бритого Юстаса! В-третьих, на горизонте маячили ласки грудастой Амелии из дома терпимости средней руки, что в квартале Красных Фонарщиков. К девицам Пауль не заглядывал давненько – все служба, будь она неладна! – но теперь рассчитывал разом наверстать упущенное. А еще он наконец получил возможность снять опостылевший доспех и шлем. Он даже вымылся, если опрокинутое на голову ведро воды можно назвать умыванием, переодевшись в купленный по дешевке камзол и новые штаны с бантиками, хранившиеся как раз для гульбы. Впрочем, оставив обычную шпагу, Пауль привесил к левому боку тесак, широкий и тяжелый, – с тесаком мужчина смотрится много солиднее; в придачу вид оружия чудесно охлаждает пыл всякого отребья, в чем Паулю приходилось убеждаться неоднократно.

Короче, жизнь была прекрасной, обещая улучшаться с каждой минутой.

– Тысяча чертей!

Когда из тумана возник призрак в развевающемся саване, рейтар шарахнулся было прочь, но вовремя опознал в привидении – живого монаха. Крепкое словцо само собой сорвалось с губ Пауля, и монах остановился, неодобрительно глядя на сквернословия. Рейтар смутился и, дабы загладить промах, спешно пробормотал:

– Прошу прощения, отче! Благословите меня, грешного...

– Благословляю, – кивнул монах, поднимая руку для крестного знамения. – Ложись и больше не греши.

В следующий миг из глаз у Пауля брызнули искры, а земля встала дыбом, норовя ускользнуть в пекло.

– Ах, ты...

Он задохнулся от второго удара, пришедшегося под ложечку. Подлец-монах бил мастерски – впору обзавидоваться! Уже ничего не соображая от боли и обиды, Пауль схватился за тесак, но руку сжали тиски, а в голове зажглось черное солнце. Когда рейтара, избитого и почти голого, найдет в переулке горшечник из соседнего дома и бедняга наконец очухается, он станет уверять, что его ограбил Бледный Монах, который, как известно, шляется ночами по улицам Хольне.

Ясное дело, никто ему не поверит.

Ну зачем Бледному Монаху штаны с бантиками?

Отец Игнатий деловито натягивал на себя чужую одежду. Наряд пах прошлым. Чуть великоват? Пустяки. Подобрать здесь и здесь, ту же затянуть пояс... Взятая из дому котомка

оказалась кстати: в ней мигом исчезли ряса и сандалии. Преобразившийся монах сунул в ножны оброненный тесак, оценивающе взвесил на руке кошель с монетами; заглянув внутрь, хмыкнул с удовлетворением. И решительно направился именно туда, куда раньше следовал неудачник Пауль, – в сторону квартала Красных Фонариков.

Он не задумывался о том, что делает. Время размышлений кончилось. Настало время действия.

Шествующие рука об руку грех и добродетель. Безумный хоровод, в центре которого он, Альберт Скулле... нет, не Альберт – отец Игнатий; или круг замкнулся? Неважно! Важно другое: хоровод прежний, он никуда не делся. Пышет пламенем адской страсти лицо судьи Лангбарда; неземное вдохновение поет в молитве, обращенной к небесам; крики пытаемого под бичом; светлые слезы раскаяния в глазах заключенного, и – тихая радость в сердце: его душа спасена! Грех и добродетель, добродетель и грех...

«Делай что должен, и будь что будет».

Время, последовавшее за ограблением рейтара, он запомнил плохо. Все слилось в сплошную круговерть, откуда лишь изредка, яркими вспышками, высвечивалось: стук катящихся по столу костей, звон монет, кто-то горячо дышит в ухо, разя чесноком и перегаром; булькает разливаемое по кружкам вино, зубы вгрызаются в жесткую, успевшую остыть баранину; нищий орет похабную песню, зеваки вокруг хохочут, на колени падает визжащая девица, она изрядно пьяна и сразу лезет целоваться; под руками – женское тело, горячее, податливое, ладони нащупывают упругие округлости груди; стонущий шепот: «Ну ты жеребец!.. Жеребец...»; саднят костяшки пальцев, содранные о чьи-то зубы, на полу – пятна крови, тело утаскивают прочь; и снова – хохот, визг, вино льется рекой...

Он очнулся через три дня. На рассвете. И почувствовал: конец. Кураж ушел, карусель остановилась, пьяный угар неумолимо рассеивался вместе с зябким туманом. Пора возвращаться. Монах ощущал усталость пахаря, закончившего тяжелый, но необходимый труд, – какой бы безумной и кошунственной эта мысль ни казалась. Он не испытывал раскаяния, и это пугало его. Может быть, только *пока* не испытывал?

Кто знает?

Котомка с рясой и сандалиями обнаружилась под лавкой. Быстро переодевшись в пустом переулке и зашвырнув одежду рейтара через ближайший забор, отец Игнатий направился домой.

– Труди, золотце, беги скорей! Святой отец вернулся! В ножки, в ножки кланяйся! Когда б не он, не его молитвы...

Девица упала перед монахом на колени, норовя поцеловать краешек рясы.

– Перестань, Гертруда. Поднимись. Тебя отпустили?

– На вас наше упование, отец Игнатий, святой вы человек! – затараторила кухарка, пунцовая от счастья. – Уж и спрашивать зарекусь, где были, с кем говорили! Сама вижу, лица на вас нет, небось постились да схимничали, чтоб молитва веселей к Небу бежала! А я вам вкусенького наварила, садитесь скорее, кушайте на здоровьице...

К вечеру, зайдя в городскую тюрьму, бенедиктинец узнал у палача Жилия, как повернулось дело. Судья Лангбард, придя на первый допрос, против обыкновения не возбудился, сидел скучный, молчал; едва девице пригрозили плетями – поначалу больше для острстки! – вдруг скривился, велел прекратить и вместо продолжения допроса отправил двух стражников за доносчиком. К полудню того доставили, но Лангбард отдал приказ вначале бросить прохвоста в темницу: пускай, значит, переночует по холодку. На следующий день судья вплотную занялся уже не «ведьмой», а нагловатым рыжим детиной по имени Тьяден, обвинившим Гертруду в колдовстве и наведении порчи. Поначалу детина твердил словно по заученному:

дескать, видел в окошко, как Гертруда варила сатанинское зелье, слышал «чертовы слова», а соседка Матильда из-за нее, гадины, дитя скинула, а еще...

Судья слушал вполуха, явно не веря ни единому слову.

Потом, прервав болтовню доносчика, велел Жилю продемонстрировать детине весь пала-ческий инструмент: от простого кнута до «резного гроба» и ушной воронки. Подробно рассказав о назначении каждой штуковины. Когда Жиль закончил экскурс, мейстер Жодем радушно спросил совета у белого как мел Тьядена: с чего, мол, лучше начать? Детина же в ответ решил начать с чистосердечного раскаяния.

Гертруда? – знать не знаю, и видел-то всего раза два-три. Издали. А возвести на девицу напраслину подговорил его, Тьядена, один незнакомец, с виду торгаш, – не задаром, ясен день, а за горсть полновесных талеров. После десятка плетей (судья ограничился поркой, но детине хватило с избытком) выяснилось, что «незнакомец» Тьядену не столь уж и незнаком. Парень частенько видел его в качестве служки собора Св. Фомы. Так что подозрения отца Игнатия полностью оправдались.

Как ни странно, доносчика Тьядена судья отпустил без приговора или членовредительства. Только строго наказал передать «незнакомцу» из собора, что если он и его сообщники еще раз попытаются строить козни, то вся эта грязная история мигом выплывет наружу, дойдя до папской курии, и тогда никому снисхождения ждать не придется, невзирая на сан и сословие.

А Гертруду проводили домой, к матери.

Теперь отец Игнатий знал наверняка: молодой маг оказался прав.

«Что он читал перед моим приходом? Что?! Гонорий Отенский, „De praedestinatione... et libero arbitrio“? – монах напряг все свое малое знание латыни. Перевод дался на удивление легко, словно некто нашептывал в уши значение чужих слов: „О предопределении и свободе воли“! О предопределении... о свободе...

Он решился к вечеру. Да и без толку идти к судье Лангбарду с утра: ранние часы судья обычно проводил на допросах, позже шел в магистрат и освобождался довольно поздно.

Сам отец Игнатий также не мог пренебречь своими обязанностями, особенно после трех-дневного перерыва: он исповедовал заключенных, молился в тюремной часовне, преисполняясь знакомым чувством радости, чистоты и нисхождения божественного света, наполнявшего сердце до краев. Душа пела. Душа рвалась ввысь, в небеса, ей было тесно на грешной земле, в грешном теле бывшего наемника. Но рука об руку со светом шла тьма, рядом с хмелем – отрезвление. Хоровод длился. Монах вспоминал, что сейчас, когда узники испытывают раскаяние, а он отпускает им грехи, искренне радуясь новому рабу Божьему, вставшему на путь спасения, – в это самое время лицо Жодема Лангбарда загорается безумием гнева, судья вырывает кнут у палача и, изрыгая проклятия, в неистовстве хлещет очередную жертву или сует веник в огонь жаровни...

Надо хотя бы попытаться. Да, глупо, да, нелепо, да, шансов практически нет. Триста раз «да», и каждое подтверждение тяжелей тверди земной. Но оставь монах все как есть, и ему больше не видать душевного покоя.

Возможно, он бы смог понять. Но принять – никогда.

Слуга, как обычно, был безукоризненно вежлив:

– Прошу, святой отец. Господин Лангбард ждет вас.

«Удивительно. Я ведь не предупреждал его о своем визите. В окно увидел?»

Судья ждал в кабинете. Скосил налитый кровью глаз, без обычного дружелюбия. Слуга вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

– Добрый вечер, мейстер Жодем.

– Добрый... – буркнул судья, отворачиваясь от гостя.

– У меня есть к вам разговор. Очень важный, хотя он и может показаться весьма странным.

Лангбард молчал, однако весь вид его ясно выражал: «Ну?» Сестр он отцу Игнатию не предложил. Бенедиктинец постарался успокоиться. От вескости и убедительности доводов будет зависеть многое.

– Начну без долгих околичностей. Между мной и вами, мейстер Жодем, существует связь. Если хотите – связь мистическая, хоть и не пристало служителю Господа впадать в грех суеверия. Тем не менее...

И тут судья Лангбард наконец повернулся к монаху. Саркастически изломал бровь, однако под маской сарказма в лице судьи помимо воли проступало скрытое, загнанное в самый дальний уголок души страдание.

– Вы надеялись сообщить мне нечто новое, святой отец? В таком случае извините. Марцин Облаз имел со мной увлекательную беседу еще в день вашего приезда. Вчера я посетил мага снова. Мы говорили о двойниках: Доппельгангерах или фю... фью... Короче, неважно. Видите, я упростил вашу задачу: рассчитывая на мое изумление, вы заблуждались. Я долго думал, анализировал все происшедшее со мной в последние годы после памятного видения, тщательно изучал перемены, последовавшие за вашим визитом в Хольне. И пришел к выводу: господин маг прав. Связь между нами несомненна. Мы с вами антиподы, как это ни прискорбно. И что дальше? Может быть, вы нашли выход из ситуации? Давайте, премудрый пастырь! Наставьте меня, неразумного, на путь истинный! Ну же, святоша! Валяй!

Судья с трудом сдерживал kloкочущий в нем гнев. Лицо мейстера Жодема быстро наливалось дурной кровью. Похоже, ему стоило изрядных усилий не разразиться проклятиями и не наброситься на монаха с кулаками. Но сила воли этого человека была стальной: он держался, оставаясь почти в рамках приличий. А на отца Игнатия, напротив, снизошло спокойствие. Судья все знает. Что ж, тем лучше. Убеждения оказались излишни. Можно сразу перейти к делу. Вдвоем они наверняка найдут выход! Если судью не устроит то, что предложит ему скромный инок, отец Игнатий с удовольствием выслушает ответные предложения Лангбарда.

Но сначала...

– Выслушайте меня, мейстер Жодем. Откажитесь от должности главы судейской коллегии. Вернитесь в магистрат. Займитесь научными изысканиями... Или вообще удалитесь от мира, как это в свое время сделал я.

– И это говорите мне вы? Вы, кто сломал всю мою жизнь, кто губит мою бессмертную душу?! Да, да, отец Игнатий! Вы! Вы спасаете души убийц, насильников, грабителей, – но хоть раз, один-единственный раз вы подумали о душе Жодема Лангбарда?! Ведь я родился другим человеком! Тихим, добропорядочным обывателем... Я подавал милостыню нищим, ходил в церковь, служил родному городу и искренне шел навстречу людям, чьи прошения и жалобы мне приходилось рассматривать. Поднять руку на живое существо? Да я не выносил вида крови, насилие было омерзительно для меня!.. Это вы, вы, святой отец, сделали судью Лангбарда чудовищем! Вы и ваша набожность, будьте вы прокляты! Теперь я получаю удовольствие от человеческих страданий, я иду прямой дорогой в ад, – и этот ад, мой личный ад, вы строите вашим гнусным благочестием! После этого у вас хватает наглости...

– Откажитесь от должности. И вам не придется больше присутствовать при пытках и казнях. – Оторопев от натиска, монах чувствовал, что теряет былую убежденность. – Да, возможно, я виноват перед вами. Но если вы предпримете попытку вернуться на путь добра и сострадания...

– Да что ты понимаешь в сострадании, чертов святоша?! – Судья уже кричал. Он метался по кабинету, как запертый в клетку зверь. – Пытки, казни! Ты хоть знаешь, каких усилий мне стоит не броситься на очередного подсудимого, чтобы своими руками – вот этими руками! – разорвать его на куски, испытывая мучительное наслаждение от чужой боли! Тебе

не понять горькой сладости, не вдохнуть мерзкого, чарующего дурмана! Да если я последую твоему дурацкому совету, ничего ведь не изменится! Ни-че-го!!! Сейчас я хотя бы истязую подонков, отбросы общества, а что будет тогда? Ведь эта адская страсть: получать удовольствие от чужих мучений – она никуда не исчезнет! Я окончательно превращусь в сатану! Стану терзать и убивать невинных... Ты этого хочешь, искусьте?! Этого?!! Признайся! Кто из нас чудовище – ты или я?!

– Постойте! Погодите! – Монах был растерян, но растерянность странным образом сочелась с благостным умиротворением, все более овладевавшим душой отца Игнатия, по мере того как судью все более охватывали ярость и гнев. – Если искусь в вас столь силен, примите схиму, уйдите в отшельники. Живя в одиночестве и замаливая грехи, вы никому не сможете навредить...

– А что будете в это время делать вы, святой отец?! По-прежнему молиться? Исповедовать страждущих? Идти по дороге в рай? Отлично! А некий отшельник станет выслеживать в лесу одиноких путников, чтобы забить их до смерти? Резать глотки добрым людям, принесшим ему кусок хлеба?! Если вы так уж печетесь о ближних, если вы сама добродетель во плоти, почему бы вам – вам, святой отец! – не сложить с себя сан и не вернуться к прежнему ремеслу?! Станьте вновь наемником, и вы сделаете меня счастливейшим из смертных!

Монах пошатнулся, словно от удара в грудь.

– Я не могу этого сделать, сын мой. Я не в силах нарушить обеты, данные не людям – Всевышнему. Успокойтесь. Давайте поищем другой выход. Уверен: вместе мы сможем...

Однако спокойные, умиротворяющие слова произвели на судью прямо обратное действие.

– Конечно! Едва речь зашла о вашей драгоценной святости, как вы поспешили удрать в кусты! – Лицо мейстера Жодема было темно-багровым, судья хрипел и ревел, брызгая слюной; казалось, его вот-вот хватит удар. – Другой выход, говорите?! Он у меня есть! Очень простой выход! Отправляйся на свои небеса, фарисей!

Звериным прыжком судья оказался вплотную к отцу Игнатию и вцепился тому в горло. В глазах у монаха потемнело, закружилась голова, – но тело, привычное к бою тело капитана Альберта Скулле дорожило жизнью куда больше потрясенного рассудка. Колено впечаталось судье в пах. Лангбард истошно взвыл, однако даже после этого монаху потребовалось немало усилий, чтобы оторвать от себя цепкие пальцы безумца. С грохотом судья рухнул на ковер, опрокинув кресло. На лестнице слышался топот ног, – и тело, опережая доводы разума, решилось. Окно располагалось рядом. Второй этаж? Пустяки! Бывало, прыгали со стен и повыше. Однако, когда монах уже распахивал створки, взбираясь на подоконник, сзади на него вновь набросился очнувшийся судья. Обхватил, вцепился намертво, бодая головой в поясницу. Монах вслепую ударил локтем, еще раз, затем рванулся что было сил...

Они рухнули в окно оба – монах и судья, так и не выпустивший жертву. Когда подоспевшие слуги опасливо выглянули наружу, Жодем Лангбард с трудом поднимался на ноги. Монах остался лежать на земле, неестественно вывернув голову, словно хотел напоследок взглянуть в усыпанное звездами небо, вслед отлетавшей душе.

У него была сломана шея.

Отец Игнатий умер.

* * *

– Как – умер?!

– Вы разочаровываете меня, молодой человек. – Монах грузно встал с табурета. – Вам неизвестно, как обычно умирают люди?

– Но...

– Умер-шмумер, лишь бы был здоров! – встрял от дверей вернувшийся корчмарь Элия, но быстро сообразил, что здесь обойдутся без него, и выскочил обратно на двор. Через секунду послышалась его брань: младший сын Элии слишком долго возился с мулами преподобных отцов.

Монах улыбнулся своей странной, *недоразвитой* улыбкой:

– В сущности, этот авраамит прав. Лишь бы был здоров...

Петер Сьядек смотрел, как бенедиктинец идет к выходу: медленно, тяжело ступая на половицы. Удивительный рассказ занозой сидел в памяти, желая завершения или освобождения. Но бродяга понимал: не будет ни того, ни другого. Вот он уходит, человек, который мгновением раньше сказал про себя: «Я умер». Уходит навсегда, как если бы действительно уходил в смерть. Больше мы никогда не встретимся. Левая рука – правой, ложь у двойника – правдою...

На пороге монах обернулся.

– Нос erat in fatis, – отчетливо произнес он, прежде чем уйти окончательно.

Петер не понял смысла сказанного, но случай был наготове, спеша помочь.

– Так было суждено, – сообщили сверху лестницы. – Это латынь, сын мой. Так было суждено. Отец Игнатий, будьте добры, обождите меня снаружи.

Монах кивнул и вышел, закрыв дверь.

Аббат Ремедий спускался осторожно, держась за перила. Старость одолевала, подтачивая телесные силы. Ноги, особенно по утрам, плохо слушались хозяина, а предстоял еще долгий путь в седле. Но походка аббата отличалась от походки только что скрывшегося монаха, как простая аккуратность пожилого, болезненного человека от шага голема из глины.

С одной оговоркой: человек двигался к завершению жизни, а голем – оживал.

– Отец Игнатий? – Петер встрепнулся, забыв о приличиях и собственной стеснительности, обычно проявлявшейся в самый неподходящий момент. – Ну правильно, это отец Игнатий! Почему он сказал: умер?!

– Я благодарен вам, сын мой. – Остановясь передохнуть на середине лестницы, аббат Ремедий внимательно оглядел молодого человека с головы до ног. – Не знаю, какой вы певец, ибо ничего не смыслю в светских забавах, но слушать вы умеете замечательно. Вам удалось то, что не удавалось мне в течение двух лет. Мне он исповедовался, а с вами – разговорился. Это разные вещи, да простит меня Господь... Вы правы: это отец Игнатий, но в миру его звали отнюдь не Альбертом Скулле.

Солнце пробилось в узкое окошко, бросив сияющий нимб к ногам аббата. Словно ангел распластался на ступенях, помогая старику идти.

– Его звали Жодем Лангбард. Глава судейской коллегии Хольне. Здесь нет никакой тайны, поэтому я могу быть с вами откровенным, сын мой... Это Жодем Лангбард, и я отнюдь не уверен, что все им рассказанное – правда, а не плод больного воображения. Он пришел в обитель спустя полгода после гибели *первого* отца Игнатия, но можно представить, что с ним творилось перед этим...

Табурет слегка скрипнул под аббатом. Совсем иначе, чем под массивным телом бывшего судьи. Этот скрип был тихим, покорным, предупредительным, словно воробьиное перышко опустилось на доски и те внезапно решили приветствовать гостя.

– Знаете, сын мой, он напоминал скорее статую, нежели человека. Не ощущал вкуса пищи. Перестал различать запахи. Плохо видел, причем путал красное с зеленым, а синее – с желтым. Подозреваю, для него вообще остались лишь черный да белый... Братия пела псалмы – он был лишен возможности хотя бы подпеть, ибо утратил способность различать звуки высокие и низкие. Не чувствовал боли. Нам приходилось следить: он мог поранить руку и оставить рану как есть. Порез начинал гноиться, он же относился к этому с равнодушием истукана! Смех, плач, гнев закончились для бедняги. Тонкая, образованная личность, человек слова (это

правда, что, соблюдая клятву, он женился на помешанной Белинде ван Дайк!), Жодем Лангбард утратил практически все чувства, и рассудок его бился в агонии, заключенный в мертвую темницу плоти. Я согласился на монашество бедняги. Мне казалось, это единственный способ если не спасти гибнущую душу, то хотя бы помочь ему остаться в живых. Обитель способна дать надлежащий уход несчастному брату. Разумеется, в его историю плохо верилось, – зато хорошо верилось в раскаяние и желание отринуть мирскую пагубу. Я часто повторял ему: «*Sileto et spera!*» Ах да, вы же не знаете латыни...

– Молчи и надейся! – ввернул от дверей возникший корчмарь. – Святой отец, ваши мулы готовы... Ой, зачем вы так сильно моргаете на бедного Элию?! Ну да, бедный Элия таки знает вашу латынь. У него был умный папа, который говорил: «Учение – свет, сынок, но если в кармане звенит *гелт*, то можно купить свечку!» И скажу вам, что «Молчи и надейся!» – самый авраамитский девиз. Все, все, ухажу...

Аббат Ремедий встал.

– Мне пора. Когда корчмари начинают говорить на латыни, аббатам время уходить. И напоследок, сын мой... Бывший Жодем Лангбард, теперь отец Игнатий, едет в Хольне. Чтобы принять должность черного духовника. Он сам выбрал свою стезю, а я решил не мешать. В последний год он начал просыпаться. Ощутил вкус, стал различать цвета. Испытал хотя бы огрыздки чувств. Но главное: он нашел себя в молитве. Многие миряне, поговорив с ним, начинали испытывать сильнейшее желание исповедаться и покаяться. В обитель стекались богомольцы: хоть краешком глаза взглянуть на святого. Мне приходилось укрощать его страсть к постам и бичеванию: когда человек далек от боли и вкуса, аскетизм способен убить. Завтра мы будем в Хольне, и я уповаю на Бога в его милосердии. Знаете, ведь он путает себя и *того*, умершего... Иногда ему чудится, что нынешний отец Игнатий – это капитан Альберт Скулле и судья Жодем Лангбард в одном лице. Я пытался разубедить его, но и сам теряюсь в догадках: откуда бывший судья может так досконально знать прошлое покойного?! Неисповедимы пути Господни, и не мне, грешному...

На пороге аббат Ремедий обернулся, как незадолго до него поступил отец Игнатий.

– Когда в нем стали вновь пробуждаться чувства, сын мой, я сказал ему: «Господь милостив. Он простил тебя...» Знаете, что он мне ответил? «Возможно, отец мой. Но я допускаю еще одну причину. Что, если где-то у меня родился новый двойник?! И сейчас, когда я молюсь со всей страстью искренне верующего, этот ребенок мучает кошек?!» Я не нашелся, что ему ответить...

Хлопнула дверь.

Оставшись один, Петер Сьядек долго смотрел в стену. Солнечный нимб сполз с лестницы к ногам бродяги. Потерялся о сбитые в пути сапоги. Стал бы я сочинять стихи дальше, думал Петер, зная, что где-то, далеко или близко, мой двойник коснеет в тупой обыденности лишь потому, что некий бродяга испытывает приступ вдохновения?! Накормил бы голодного пса, понимая, что там, в бесконечности дорог, кто-то для равновесия избивает усталую клячу? Стал бы «пан шпильман» петь, убедившись, что его песня – плод закостенения чужой души?! Гирька на недоступных пониманию весах?! Я не учил латынь, мне трудно найти разумный и убедительный ответ. Кроме единственного, рожденного не рассудком, но сердцем, потому что рассудок – хромой поводырь.

– Да, «пан шпильман» стал бы петь, – сказал вслух Петер Сьядек. – Все равно стал бы. Делай что должен, и будь что будет.

– Ой, счастье какое! – заорал вошедший корчмарь Элия, дергая себя за бороду. – Ой, праздник! Так я бегу за дударем?

Круг солнца добрался до дремлющей лютни.

Сквозняк, метнувшись следом, легко тронул струны.

...в зеркале глаза – разные.
Позже ли сказать?
Сразу ли?!
Словом или фразой,
Мелом или краскою?
Сострадаю?!
Нет! —
Праздную...

Петер улыбнулся.

Вслушиваясь в заключительный аккорд «Баллады двойников».

Баллада двойников

– Нежнее плети я,
Дешевле грязи я —
В канун столетия
Доверься празднику.

– Милее бархата,
Сильней железа я —
Душой распахнутой
Доверься лезвию.

...Левая рука – правой,
Ложь у двойника – правдою,
Исключение – правилом,
Лакомство – отравой.
Огорчаю?
Нет! —
Радую...

– Червонней злата я,
Из грязи вышедши —
В сетях проклятия
Доверься высшему.

– Святой, я по морю
Шел, аки посуху —
Скитаясь по миру,
Доверься посоху.

...Правая рука – левою,
Шлюха станет королевою,
Трясогузка – лебедью,
Бедность – нивой хлебной.
Отступаю?
Нет! —

Следую...

– Возьму по совести,
Воздам по вере я,
На сворке псов вести —
Удел доверия.

– Открыта дверь, за ней —
Угрюмый сад камней.
Мой раб, доверься мне!
Не доверяйся мне...

...в зеркале глаза – разные.
Позже ли сказать?
Сразу ли?!
Словом или фразою,
Мелом или краскою?
Сострадаю?!
Нет! —
Праздную...

Джинн по имени Совесть

...и скажу тебе, сын мой, что когда приходит к нам Разлучительница Собраний и Разрушительница Наслаждений – то хвала Аллаху, милостивому и милосердному, если эта гостья приходит в положенный срок и зовут ее всего лишь Смерть. Потому что разные гости бродят под горбатым небосводом, званые и незваные, ища подходящий дом, куда можно зайти на минутку и остаться навсегда, неся хозяину в лучшем случае – удивление...

Из наставлений Ахмада Джаммала своему сыну

*Судьба ни при чем,
И беда ни при чем,
И тот ни при чем,
Кто за левым плечом...*

Ниру Бобовай

– Сядь!

Петер Сьядек послушно сел на камень, прижимая к груди лютню. Инструмент напоминал сейчас больного ребенка, которого нерадивый отец потащил в холод и слякоть. Поверх обычной тряпицы лютня была завернута в кусок вонючей промасленной кожи и еще прикрыта овчиной кожуха. Спасибо юнакам, расщедрились. Иначе отсыреет, погибнет, а где тут, в теснинах Ястребаца, новую сыщешь?..

Легкий жар кружил голову. По хребту взапуски бегали скрипучие мурашки. Глаза слезились, окружающие бродягу скалы казались великанскими кусками сыра с плесенью. Петер поминутно чихал, пряча нос в кудлатый воротник. Не дай Бог, услышит грозный Вук Мрнявчевич, а того пуще ирод Радоня, правая рука вожака, – чихалку отрежут! Хотелось лечь, зажмуриться и сдохнуть без покаяния. Не иначе сатана, колченогий насмешник, подсказал сплавляться вместе с плотогонами вниз по Драве, в самое сердце Черной Валахии. Вечерами старый сплавщик Гргур учил Петера брэнчать на ляхуте-пятиструнке, распевая местные сказки. Среди них встречались забавные, встречались гордые, смешные тоже встречались, но дело, как правило, завершалось однообразно:

*Саблею взмахнул болящий Дойчин,
Голову отсек он побратиму,
Голову его на саблю вскинул,
Из глазниц его глаза он вынул,
Кинул голову на мостовую...*

«Зачем глаза-то? – допытывался Петер у старого сплавщика. – Зачем?!» Гргур удивленно супил космы бровей: «Как зачем? Любимой подаришь, любимая расцелует, к сердцу прижмет!» Петер тогда думал, что старик шутит. Наверное, потому, увлекшись игрой на ляхуте и валашскими мелодиями, двинулся дальше, – через Брду, на юго-восток. Поначалу все шло хорошо: местные крестьяне с интересом внимали пришельцу, кормили досыта, с охотой пускали переночевать. Знакомили с бородачами-сказителями, и Петер слушал взахлеб, машинально пропуская мимо ушей знакомое: «Кинул голову на мостовую...»

Пока не углубился в горы.

Здесь народ пошел менее приветливый. А на Шар-планине, заблудившись в отрогах, Петер наткнулся на юнаков Вука Мрнявчевича. На шайку, одним словом, хотя юнаки за шайку

били, а свою ораву вызывающе именовали *четой*. Плохо понимая, в чем состоит вызов и чем здешняя *чета* отличается от обычной шайки, Петер сперва не испугался. Грабителям с бродяги взять нечего, а убивать беспомощного путника за просто так – ни себе чести, ни жожаку славы. Вот тут певец угадал и ошибся одновременно. Убивать его действительно никто не стал. Даже накормили, обогрели. Заставили петь до рассвета. А потом юнакам захотелось славы.

И Петера Сьядека оставили в *чете*.

Будешь юнаком, сказали. Будешь в золоте купаться, сказали. Вот кожух, вот сапоги. Каши просят, но ладно. Мы тоже просим, да не всегда дают. Вот кусок прогорклого сала – ешь. Бежать вздумаешь, сказали, голову на саблю вскинем, из глазниц глаза вытащим. «Кинем голову на мостовую», – обреченно кивнул Петер. Во-во, сказали. Кинем. А не будет мостовой, так кинем на травку. У Петера не было оснований не доверять столь веским обещаниям. Таскаясь за юнаками по Шар-планине, он быстро догадался, в чем дело. Грозный Вук Мрнявчевич, жожа *четы*, грезил славой какого-то «старины Новака», а его помощник, злой и вечно голодный Радоня, завидовал «Радивою Малому». Про этих героев Петер слышал от сплавщика Гргура и недоумевал: чему там завидовать? Но, видимо, у ирода Радони были свои представления об известности.

По вечерам, после скудного ужина, Петера усаживали в круг. Требовали песен, учили различать местные племена, вечно враждующие друг с другом: хвалить надо было белопавличей и босоножичей, а также пиперов, бранить подлых морачей, васоевичей и грязных роваци. Путаясь в названиях, не зная, как воспевать бессмысленные скитания в скалах, Петер судорожно выискивал хоть какие-то события. Позавчера заходили в Крушевцы. Забрали козу у хромой старухи. Местный бондарь косо посмотрел на юнаков – дали бондарю по шее. Забрали бочку. Потом передумали, расколотили бочку на доски и забрали мешок пшена. Сейчас вот кулеш варим. Мясо козье, жесткое, пшенка с жучками.

Горного лука нарвали, сдобрили кулеш.

Пир пирует грозный Вук Мрнявчевич
На зеленом стане Ястребаца;
Рядом побратим Стоян Радоня,
Рядом тридцать вояков-юнаков,
Мило им вина напиться вдосталь...

Сбежать он не пытался. Одолевал страх. Заблудиться в гиблых местах легче легкого. Свалишься в пропасть, достанешься волкам или медведю. Или того хуже: догонят, начнут терзать. Они ведь как дети: чванные, самолюбивые... Жестокие. Деться некуда, обратного пути тоже нет, – вот и мечутся. Их бы пожалеть, да Вуку с Радоней не жалость, слава требуется.

Куда ни кинь, всюду клин.

С утра Петеру стало плохо. Заложенный нос вынуждал дышать ртом, в висках плясали чертенята, кашель и чих вынимали душу. Глотая, он едва сдерживался, чтоб не заплакать, – так было больно. Воспаленная глотка притворялась входом в ад. А тут Радоня прибежал: «Караван! Караван идет! *Чета*, за дело!» Вук схватил Петера за шиворот: «Не отставай! После воспоешь...» Скалы завертелись в безумной пляске, узкие тропинки вились гадючьим кублом, Петер трижды падал, будучи вздернут на ноги мощной лапой Вука, за спиной топотали сапоги юнаков, пыхтел Радоня, осыпь шуршала по склону, и когда в несчастную, измученную голову толкнулся приказ «Сядь!..», бродяга счел это высшим благом на свете.

Сидеть довелось недолго.

На дороге, проходящей ниже засады, раздался стук множества копыт, окрики погонщиков. Заржала лошадь, потом еще одна.

– Эй! – Грозный Вук встал во весь рост, вынимая саблю из ножен. – Стой, приехали!

Грабят будут, равнодушно подумал Петер, изо всех сил стараясь не опрокинуться в пыль беспамятства. Это не коза с пшенкой, это караван. Надо хоть глазком!.. Вечером они воспе-вать затребуют... Привстать оказалось труднее, чем сдвинуть гору. Сдерживая кашель, бродяга наклонился вперед, рискуя свалиться с камня на головы караванщикам. Сморгнул слезы. Внизу на дороге толкалось десятка два выючных лошадей и мулов, растянувшись длинной цепочкой. Охранники (или просто погонщики?) удрученно смотрели на юнаков, вооруженных луками и пращами, – бодро голоса для устрашения, юнаки рассыпались по склону. Боя, судя по скуч-ному выражению лиц, не намечалось. Охранникам мало хотелось «голову на мостовую».

Рядом гордо сопел Вук, помахивая сабелькой.

– Это ты, Мрнявчевич?

Голос был густой как смола. В таком сразу вязнешь и молишь Бога, чтоб костер не раз-вели. Петер вгляделся, плохо соображая, кого он ищет там, внизу.

– Ну, я...

Ответ Вука прозвучал скомканно, невпопад, словно вожак собирался ответить что-то другое, но внезапно передумал.

– Ты обожди, я к тебе сейчас подымусь!

Вскоре рядом с Петером выглянула голова в мохнатой шапке. Морщинистое смуглое лицо, борода грязно-белая. Но карабкался человек не по-стариковски резво. Вук посторо-нился, уступая место на тропе. И некоторое время молчал, давая человеку время восстановить дыхание. Все-таки в его годы по скалам лазить...

Жилистый малорослый дядька отряхнул халат. Снял шапку, вытирая лицо. Под шапкой обнаружилась затертая, некогда зеленая чалма. Прежде чем начать разговор, он скосился себе за левое плечо, будто высматривал спутника-невидимку. Высмотрел, кивнул то ли подсказке призрака, то ли собственным мыслям.

Строго нахмурился.

– Тебе не стыдно, Вук?

Петер ожидал чего угодно. Самым вероятным был взмах Вуковой сабли. Но жар, видимо, усилился, потому что начался бред. Грозный Вук съежился, нахохлился мокрой курицей. Опу-стил клинок в ножны, шагнул ближе.

Ветер, налетев от Ястребаца, взъерошил кудри вожаку, распушил бороду пожилому кара-ванщику.

– Я не знал, что это ты их ведешь, Керим-ага. Думал: какой другой караван-баши. Радоня прибежал, кричит...

– Изголодались?

– Есть маленько. У парней в Брде кровники, им вниз соваться опасно.

– Говоришь, не знал, что я веду? А если б другой вел? Ограбил бы?!

– Да, Керим-ага. Жизнь, сам понимаешь...

– Помнишь, я в прошлый раз спрашивал: «У тебя совесть есть?!»

– Помню. Ты спрашивал, а я и тогда ответил, и сейчас отвечу: «Есть у меня совесть!» Только разная она, совесть, – у каждого своя...

Подбежал злой Радоня: «Вук! Да чего ты с этим! С этим!...» Договорить не успел. Шагнув к побратиму, вожак с размаху ткнул ему кулачищем в зубы. Брызнула кровь, Радоня качнулся, упал. На четвереньках отполз в сторонку, тихо бранясь, стал утираться пучком жухлой травы.

– Ты прости его, Керим-ага. Он тебя не знает.

– Аллах простит. Ладно, Вук. Тебе нас грабить никак нельзя. У меня в караване птенцы, сыновья купеческие. Совсем мальчишки. Их отцы по первому разу в путь отрядили. Напугаешь до смерти, потом век удачи торговой не видать. Да и без барыша мы, только-только из Влеры в Драгаш идем... Давай по совести: ты нас пропускаешь, а я тебе в Драгаше, как расторгнемся, «горную» долю оставляю. Ты скажи, кому передать...

«Вук! Он врет! Он зажилит долю, Вук!..» – битый Радоня заткнулся, едва поймал многообещающий взгляд жоака. Сплюнул ржавой слюной. Переминаясь с ноги на ногу, ждали юнаки на склоне; на дороге уныло мялись караванщики. Петер разглядел: среди них действительно большинство было молодых, не старше самого Петера, а то и младше.

– Ладно. Оставишь у Вредины Халиля. Я после заберу.

– А это кто? – Очень темные влажные глаза караван-баши остановились на Петере.

– Бродяга. Песни петь мастак. Мы его для славы выбрали.

Прежде чем продолжить, Керим-ага снова глянул себе за левое плечо. Обождal, подумал. Осуждающе вззрился на Вука:

– Был ты, Мрнявчевич, бахвалом, бахвалом и остался. Кто ж песню силком из души тянет?! Помрет он у вас в горах, по дождю-холоду, и вся тебе слава. Вишь, хворает, еле сидит. Пускай с нами едет: я его до Вржика доведу, а то и до самого Драгаша. Глядишь, оклемается...

Последнее, что запомнил Петер: его привязывали к седлу выючной лошади.

Крепко-крепко.

На лицах молодых караванщиков не было радости по поводу лишней обузы, но счастливое избавление от юнаков Мрнявчевича перекрывало все. Рядом стоял молчаливый Керим-ага. Петер Сьядек хотел поблагодарить караван-баши за милосердие, но тут из-за плеча Керима-аги выглянул черный, похожий на мавра детина в одной набедренной повязке, зажимавший ладонью шею, откуда струился вязкий дым, – и бродяга понял, что падает в горячку.

Потому что голые мавры, истекающие огнем и дымом, не встречаются на Ястребаце.

* * *

– А денег не хватит...

– Плевать! Расторгнемся, наскребем... Ты видел этих невольниц? Целенькие, ядреные! И не какие-нибудь черногорки, которые рады тебе ночью глотку перегрызть, – пышечки-валашечки, скромницы-труженицы!

– А денег все равно не хватит. Даже если расторгнемся...

– Заладил! Возьмем кредит. Здесь полно ростовщиков: ломбардцев, авраамитов... Хюсену Борджалии всякий одолжит!

– Ты уже ходил к ростовщикам. Тайком от Керима-аги.

– Ну и что? Раз отказали, в другой согласятся. Это они выкобениваются, чтоб процент зависеть. Я сегодня к ним Али послал, по новой.

– Согласились?!

– Согласятся, куда денутся... Велели передать: зайдут на постоянный двор, хотят лично обсудить. Ты ж меня знаешь, я мертвого уговорю!

– Мертвый кредитов не дает. Зря ты от Керима-аги скрыл...

– Как же, зря! Он вечно носом крутит: стыдно, не стыдно! Я, сын Мустафы Борджалии, буду советоваться с каким-то ничтожным караван-баши?!

Петер лежал с закрытыми глазами, вяло слушая спор молодых купцов. Говорили по-арнаутски, обильно пересыпая речь как валашскими, так и турецкими словечками. Понятно с пятого на десятое, только что там понимать? – один хочет закупить невольниц, второй сетует на нехватку денег... Голова совсем не болела, горло слегка саднило, но в целом жизнь явно налаживалась. Тепло, сухо. Пошевелившись, он с интересом ощутил, что одет в чужое. И до подбородка укрыт колючим верблюжьим одеялом.

– И все равно зря... Мне отец велел: слушайся, Гасан, Керима-агу! Как меня слушайся! Он дурного не присоветует...

– Ха! Вот и слушайся, деточка! А я своим умом крепок. Твой Керим, видал, с Вуковыми башибузуками запанибрата! Я только за саблю, а он уже – шиш-гашиш, як-терьяк! Лучшие друзья! Точно говорю: они ему с «горной доли» отстегивают...

– Тихо! Вон он идет...

Петер заворочался. Мало-помалу пробуждалась память: дорога, крепкая рука Керима-аги, не дающая упасть, горячее питье пахнет травами и медом, тело потное, расслабленное, тело хочет спать...

– Где я? – шепнул бродяга.

– В предместьях Вржика, на постоялом дворе. Ты лежи, лежи...

Повернуть голову удалось легко. Даже странно. Петер рискнул сесть – получилось с первой попытки. Запахнул на голой груди халат.

– Лютня! – Запоздалый озноб взбежал по хребту. – Где моя лютня?!

– Здесь твоя лютня. В углу лежит, целехонькая.

– Мне нечем вам заплатить. У меня ничего нет, кроме песен...

Стоявший рядом Керим-ага привычно глянул себе за левое плечо. дождался невидимой улыбки, сам улыбнулся в ответ. Словно передал Петеру чей-то подарок.

Молодые купцы успели исчезнуть. Сейчас они были наедине.

– Хорошо. Заплатишь песнями. Только позже. А сейчас тебе надо спать. Опоздай я на день-два, эти горные бараны умучили б тебя до смерти!

– Я не хочу спать...

– Ну и что? Временами приходится делать то, чего не хочешь... Давай я расскажу тебе сказку. Чтоб слаще спалось.

– Про кого?

– Ну, давай подумаем. Про Четобаше Муйо или Халиля Соколе лучше не надо – трудно спать под звон клинков! Про Талимэ Девойку? Нет, тебе нынче не до женщин. После такого приснится злая *иттойзвола*, всю мужскую силу выпьет...

Петер чуть не рассмеялся. Веселая картина: бродяга-доходяга и над ним – седой караван-баши, выбирающий из всех знакомых сказок самую усыпляющую.

Но Керим-ага не разделил его веселья.

Напротив, лицо караван-баши вдруг сделалось не таким уж старым, но очень печальным.

– Значит, так: жил некогда во Влере – лет тридцать, а может, и все сорок назад – один купец...

* * *

Жил некогда во Влере – лет тридцать, а может, и все сорок назад – один купец. Вернее, купцом он уж после стал, а сперва в простых караванщиках ходил, потом караван-баши делался, начал долю с продаж получать. Мало-помалу и свой товар возить принялся – в Дуррес, в Шкодер, в Дришти, в Лежу, во Вржик, а то и дальше, за пределы Арберии: из Османской Порты в Ополе, в Майнцскую марку; до самого Хенинга пару раз добирался... Был он из османцев, но во Влере давно осел, женился на местной арнаутке, через год вторую жену в дом пустил и на родину возвращаться раздумал.

Сын у отца один родился. Остальные – дочери. Сызмальства отец сына с собой брал. Зачем, спросите? Чтоб к тропам караванным привыкал, к жизни кочевой, наречия разные запоминал, с людьми ладить умел, в товарах разбирался: что где да почем, как лежалую ветошь за новый шелк выдать; у кого контрабанду брать можно, кому тайком сбывать, а с кем лучше не связываться; когда хабар дать следует, а когда шиш без масла скрутить: на-кась, выкуси!

Сын, Джаммаль-младший, весь в отца рос. В премудрости торговые-походные вникал охотно, на ус мотал (хоть усов у него в ту пору еще не было), а однажды возьми да спроси:

– Почтенный родитель мой, отчего ты караваны водишь? Вон купцы, что товары тебе доверяют, сами по домам сидят, шербет пьют, с женами тешатся, а денег куда больше тебя загребают. Стань и ты купцом!

Засмеялся Джаммаль-старший, сына по курчавой голове потрепал.

– Молодец, сынок, верно подметил. Только и отец твой далеко не простака. Чтоб купцом стать, деньги надобны. Вот я завтра в Драгаш отправляюсь: невольников вести предложили. Я раньше живых людей не водил, да уж больно выгодное это дело. Пару раз обернусь – и, да поможет мне Аллах, в городе навеки осяду. Лавку открою, торговлей займусь. А невольники... Что – невольники? Товар как товар.

Старый караван-баши слов на ветер не бросал. Отвел дважды невольников – из Драгаша во Влеру, из Шкодера в Дришти, вернулся домой с удачей и дело свое открыл. Сын, понятно, при лавке: растет, отцу помогает. Ушлый парень: на язык боек, барыш носом чувствует. Своего не упускал, а бывало, и чужое прихватывал. Так что когда отцу срок помирать вышел – с легкой душой дело сыну оставил. Знал: в надежные руки отдаст.

Принял сын наследство, погоревал сколько положено, родителя оплакивая, а там вскорости сестер замуж выдавал и сам женился. После вторую жену взял, третью – доходы позволяли. Дела процветали, купец Джаммаль понемногу богател, умело скрывая часть прибылей, дабы не баловать казну лишними податями, и был вполне счастлив, пока не исполнилось ему тридцать девять лет. «Разве это возраст для мужчины?!» – скажете вы и будете совершенно правы.

Ибо возраст тут ни при чем.

И судьба ни при чем, и беда ни при чем...

– Неужели ты хочешь получить от меня золота больше, чем весит эта несчастная цепочка?!

– Ах, уважаемый, разуйте глаза! На этой замечательной, превосходной, лучшей в мире цепочке еще имеется пластинка червонного золота с древними письменами, вдесятеро увеличивающими ее ценность! Они такие древние, что их не прочтет и сам Соломон, восстань он из праха! Обратите внимание: какое плетение, какая чеканка! Сейчас так не делают. И заметьте, ни цепочка, ни пластинка ничуть не потускнели. Лучшего золота вы не найдете и в султанской сокровищнице!

– Небось с утра надраил, – буркнул купец себе под нос, однако так, чтобы его не услышал ювелир, тщедушный венецианец. Ибо выше прибыли ювелир ценил свою репутацию, хотя торговаться умел ничуть не хуже самого Джаммала.

– И вот эта тоню-ю-юсенькая пластиночка золота, по-вашему, стоит целый динар да еще восемь курушей в придачу? Да, уважаемый?!

– Да, уважаемый! Эта толстая пластинка на тройной цепи стоит гораздо больше! А мой почтенный клиент вовсе не умеет смотреть на товар! То вы смотрите на пластинку и забываете про цепочку, то вы смотрите на цепочку и забываете про пластинку. Опять же не восемь, а девять курушей, если вы успели забыть цену. Я с самого начала уступил вам один куруш, или вы об этом тоже забыли? Может, вам следует лучше завязать чалму, чтобы слова, влетев в одно ухо, не вылетали из другого?

Минуту-другую купец размышлял: обидеться ему на ювелира или нет? И не удастся ли на этой обиде сторговать безделушку еще на куруш-полтора дешевле? Нет, вряд ли. Сам виноват: слишком усердно изображал забывчивость. Обижаться поздно. А подарок для средней жены нужен. Женщины любят украшения, а Рубике он давно ничего не дарил. Да и цена, если честно, вполне приемлемая.

– Вы меня убедили, уважаемый. Давайте сойдемся на динаре и восьми с половиной курушах...

– Нет, вы только послушайте! Это же чистое разорение! Ну хорошо, хорошо, только для вас, уважаемый, я уступлю эти несчастные полкуруша. Может быть, вы посмотрите новые бусы?..

Однако дома Джаммалья ждало одно сплошное расстройство и огорчение. С порога к нему кинулась младшая жена, Фатима, спеша наядбедничать: красивая, но вздорная Рубике поссорилась со старшей женой, Балой, ссора быстро перешла в рукоприкладство, и в итоге пострадала китайская ваза с драконами, созерцанием которой любил услаждать свой взор хозяин дома, предаваясь курению кальяна. Конечно, она, Фатима, пыталась вразумить старших жен, но разве может один ангел справиться с двумя шайтанами, пади гнев Аллаха на обеих...

Дальше купец уже не слушал. Его любимая ваза, как выяснилось, не просто «пострадала» – от нее остались мелкие черепки. «Это Рубике!» – не преминула напомнить из-за плеча младшая жена, ловко пользуясь случаем, чтобы направить гнев мужа на главную соперницу.

И на этот раз она действительно добилась успеха.

– Неблагодарная! – в гневе кричал Джаммаль на испуганно замершую перед ним Рубике. – Я трачу целых двадцать динаров, желая тебя обрадовать, а ты платишь мне за любовь и заботу черной неблагодарностью! Вот тебе вместо подарка!

В сердцах он швырнул цепочку с пластинкой в ярко горевший очаг.

Рубике горестно вскрикнула.

– Выйди прочь, во имя Аллаха! – Джаммаль властно указал жене на дверь, и та, всхлипывая, поспешила удалиться. А купец для успокоения души придвинул ближе кальян из серебра, заранее набитый лучшим кашгарским терьяком, раскурил его и устало откинулся на подушки, посасывая мундштук из слоновой кости.

Ну и денек сегодня выдался!

Однако день продолжал радовать происшествиями. Едва Джаммаль успел сделать пару блаженных затяжек, как из очага повалил невиданный сине-зеленый дым. «Что-то рано терьяк подействовал! – вяло удивился купец. – И странно: раньше все гурии да чаши с вином являлись...» Дым тем временем валил и валил, постепенно сгущаясь в углу и обретая вполне человеческие черты. Мужчина крепкого сложения, на вид лет сорока. Вон стоит, озирается. Из одежды на незнакомце была лишь набедренная повязка с бахромой, а ноги терялись в туманном мареве, мешая разобрать, есть ли они вообще у странного гостя или же его верхняя часть висит в воздухе, опираясь лишь на некое смутное основание.

«Нет, не гурия. Ну и ладно...» – философски подумал купец Джаммаль.

– Благодарю тебя, мой спаситель, да продлятся твои дни, да наполнятся они светом праведности, и да благословит тебя тот, чьим именем ты освободил меня!

– Аллах то есть, да будет славен он, – уточнил на всякий случай купец. И строго взглянул на видение: «Только попробуй мне тут богохульствовать!»

– Разумеется, разумеется! – поспешил согласиться призрак.

Вполне удовлетворенный ответом, Джаммаль принялся рассматривать незваного гостя.

Орлиный нос, густые брови. Волосы курчавятся, блестят легкой проседью. Ростом с самого купца. Разве что ноги... В общем, ничего особенного. Купец почти сразу потерял к видению интерес и вновь потянулся к кальяну в ожидании гурий с вином. А этот пусть сгинет поскорее.

Однако призрак исчезать не спешил. Мялся в углу, озираясь по сторонам. Выжидательно косился на хозяина дома.

– Иди, иди, дорогой, – лениво махнул ему рукой Джаммаль.

– Увы, – возразило видение. – Ты меня освободил, и теперь я должен тебя отблагодарить.

– Освободил? Откуда?!

– Я был заточен Сулейманом ибн-Даудом, мир с ними обоими, в зачарованный амулет. Но ты позволил благословенному пламени коснуться стен моей темницы и произнес Слова

Освобожденья! Теперь я свободен! Поверь, Абд-аль-Рашид не останется в долгу, о мой великодушный спаситель.

– Слова Освобожденья? – растерялся купец, не ожидавший от призрака такой самостоятельности.

– «Выйди прочь, во имя Аллаха!» – охотно пояснило видение. – Полагаю, само Небо надоумило тебя, о мудрец из мудрецов!

– Да кто ты есть, в конце концов, шайтан тебя раздери?! – вскипел купец.

– Не бранись, о досточтимый. Я есть джинн Стагнаш Абд-аль-Рашид, что значит Раб Справедливости. Семнадцатый сын Красного царя джиннов, Кюлькаша Изначально-Трехголового. И я поклялся отблагодарить того, кто меня спасет. А клятвы джиннов нерушимы.

– Ну хорошо. Давай благодари, – милостиво разрешил Джаммаль. Джинн в терьячных грезах являлся ему впервые, и это было даже интересно. Купец приготовился наблюдать чудеса. – Итак, чем займемся? Разрушить, что ли, город? Нет, я сейчас добрый. Построй-ка мне дворец, вот что.

– Но я не умею строить дворцы, – совершенно по-человечески огорчился джинн.

– Эх, братец... Стыдно. Честное слово, стыдно. Ладно, Аллах с ним, с дворцом. Объясняй потом, откуда взял, за какие деньги купил... Еще небось податей в казну сдерут. Давай-ка ты мне лучше караван с золотом. А чтоб зря не бегать, давай сразу два или три каравана. С юными красавицами, с шелками и шерстью, с индийскими пряностями...

– Но у меня нет караванов, – перебил Джаммалю удрученный джинн.

– То есть как это «нет»?! Ты джинн или кто?! Поклялся выполнять мои желания? Давай выполняй!

– Я поклялся отблагодарить тебя, а не выполнять твои желания, о мой спаситель. Будь я рабом этой пластинки, тогда другое дело. А я всего лишь Раб Справедливости. Но клятву свою я исполню, будь уверен!

– И каким же образом ты намерен меня благодарить?

Джаммаль уже понял: от джинна так просто не отвяжешься. И начал сомневаться, что Стагнаш Абд-аль-Рашид – всего лишь плод его фантазии и терьячного дыма. А вдруг... Да нет, ерунда! Купец никогда не верил в сказки. Даже в детстве.

– Я буду твоей Совестью, уважаемый! – после долгого молчания торжественно изрек джинн. Он будто стал чуточку больше или просто раздулся от гордости.

– Совестью? Тоже мне, благодарность называется! Да у меня этой совести...

– Это хорошо, что ты человек совестливый. Значит, мне работы меньше будет, – деловито обрадовался джинн. – Неужели ты не хочешь стать праведником, засыпать с чистой душой младенца, заслужить всеобщее уважение и любовь, а в итоге попасть в рай? Конечно, хочешь! У тебя глаза доброго и честного человека. Я тебе помогу!

– А может, лучше дворец? – со слабой надеждой поинтересовался купец, вновь припадая к кальяну с намерением высосать из него более привлекательную грезу, чем занудный джинн-неумеха. – Ну, хоть маленький?!

Стагнаш Абд-аль-Рашид изумился:

– Зачем тебе дворец? Я предлагаю самое лучшее, чего только может пожелать смертный: прямую дорогу в рай! А ты еще и упрямисься.

– Хорошо, хорошо, в рай – так в рай. А сейчас оставь меня в покое.

– Как скажешь, мой спаситель, – покорно согласился джинн и исчез.

Джаммаль вздохнул с облегчением. Вокруг уже начали проступать зыбкие контуры крутобедрых райских гурий, полилась сладкая музыка – и купец наконец смог отдаться привычным видениям, где не предусматривалось места для джинна по имени Совесть.

Наутро в доме, естественно, никакого джинна не обнаружилось. Плотно позавтракав и выпив свой обязательный кофе, который прощенная Рубике наливала ему из длинноносого

кофейника, Джаммаль направился в лавку. Где и застал худосочного юнца, глазевшего на выставленные ткани. Похоже, покупатель был при деньгах. Быстро оттеснив в сторону старшего сына, ожидавшего за прилавком, Джаммаль сам поспешил к юнцу, разряженному в павлиний халат.

– Чего желает дорогой гость? Багдадский бархат? Бухарская парча? Сукно из Гамельна? Шерсть из Саксонии? Или, может быть, – Джаммаль доверительно подмигнул юноше, – настоящая чесуча прямо из Китая? Да, я вижу: именно чесуча. Прекрасный выбор! Сразу видно, что вы знаток. Вот, взгляните сами, какой рисунок! А ткань? Нет, вы пощупайте, – сносу не будет, уж поверьте! Да что я вам рассказываю: вы и сами лучше меня это понимаете! Мните смелей, видите: ни одной складочки, ни единой морщиночки. А теперь попробуйте ее порвать. Смелее, уважаемый! Ага! Что спрашиваете? Цена? Право, даже говорить смешно. Для вас – всего-навсего...

Джаммаль мгновенно произвел в уме короткий расчет и назвал цифру, от которой у любого действительно сведущего человека волосы бы встали дыбом. Однако юный глупец, очарованный красноречием хозяина и донельзя гордый титулом «знатока», раздумал торговаться.

– Сколько у вас имеется этой превосходной чесучи? – важно осведомился «знаток».

Ответом был восторг Джаммаля:

– О, я вас понимаю! Конечно, вы солидный человек, вы берете оптом. К сожалению, осталось всего одиннадцать тюков. Остальное сразу раскупили. Я понимаю, одиннадцать тюков – это для вас мелочи, но если вы заберете все, я дам большую скидку!

Юноша задумался, пытаясь сосчитать, во сколько ему обойдутся одиннадцать тюков. Купец ждал, затаив дыхание, – но в этот миг из дальнего угла послышался укоризненный и вроде бы смутно знакомый Джаммалю голос:

– Не стыдно, о спаситель? А еще говорил, что у тебя совесть есть!

Купец едва не подпрыгнул на месте. Резко обернулся на голос: быть не может! Джинн вернулся! Вон завис в углу между полками с сукном из Гамельна и бархатом из Багдада. Джаммаль на всякий случай ущипнул себя за руку. Покупатель с изумлением наблюдал за действиями хозяина лавки, далее проследил за его взглядом, но, судя по всему, не узрел ничего особенного.

– Кто ж такие цены заламывает, а? – продолжил тем временем стыдить купца Стагнаш Абд-аль-Рашид. – И ладно бы за хороший товар...

– Ты говори, да не заговаривайся! – оскорбился купец. – У меня хороший товар! У меня самый лучший товар!

– Клянусь, я ничего такого не говорил! У вас превосходный товар!.. – в испуге залепетал юнец, уверенный, что гневная речь купца обращена к нему.

А джинн разошелся не на шутку:

– Это ты расскажешь двоюродной бабушке султана Махмуда! Она из ума выжила, глядишь, поверит! Нет, уважаемый, совесть не обманешь. Надеешься, что этот богатенький простофиля купит у тебя гнилье, уедет из города и никогда больше здесь не появится? А твоя хваленая чесуча через пару месяцев разлезется. Один тюк хороший и остался, который на прилавке. Остальное гниет себе помаленьку – и все от твоей жадности.

– То есть как это – разлезется?! – очнулся наконец Джаммаль, поначалу опешивший от натиска джинна. – Моя чесуча?! Подавись своей клеветой, сын Иблиса! Тут, понимаешь, трудишься в поте лица, ночей не досыпаешь, – и вдруг приходит какой-то не пойми кто, прокляни его Аллах, и при честных людях заявляет, что моя чесуча...

Юнца в лавке уже не было. Неизвестно, что он подумал о хозяине, однако едва купец исчерпал запас красноречия, он обнаружил бегство покупателя. А собственный сын Джаммаля в ужасе взирает на отца, забившись под прилавок. В итоге купец чуть было не набросился на джинна с кулаками: такая сделка сорвалась!

Когда еще подобный случай представится?!

– А никогда! – радостно поспешил заверить его Стагнаш Абд-аль-Рашид. – Ну скажи, разве совесть позволит тебе людей обманывать? Ни за что. Короче, будешь праведником. А для начала – просто честным человеком.

От подобной перспективы купец сделался мрачнее глинобитного дувала, и джинн кинулся утешать спасителя:

– Да ты не огорчайся! Знаешь, как хорошо и приятно быть честным? Просто ты еще не пробовал! Вот увидишь, сегодня ночью заснешь спокойно и совесть (то есть я) тебя мучить не будет! Горевать?! Уважаемый, ты радоваться должен!

...Всю ночь Джаммаль ворочался с боку на бок, не в силах заснуть: переживал из-за сорвавшейся сделки, мысленно честил гада-джинна последними словами и скрипел зубами. Забылся лишь под утро, но даже этот жалкий остаток ночи его мучили кошмары. Снилось, что стал он бродячим дервишем-каландаром, а имущество раздал беднякам. Проснулся купец в холодном поту ни свет ни заря и твердо решил вести себя так, будто никакого джинна не существует. Авань отвяжется!

Однако не тут-то было. Теперь джинн следовал за ним неотступно, постоянно напоминая о своем присутствии. В лавке. На базаре. На улице. Доходило до того, что Абд-аль-Рашид требовал от Джаммала подавать милостыню каждому встречному нищему. Совсем, видать, рехнулся: чистое разорение! Лишь один раз промолчал – когда, доведенный до отчаяния упреками самозванной Совести, купец решил-таки бросить монетку одноногому попрошайке, сидевшему у ворот базара. Начавший было привыкать к укорам, Джаммаль остановился, с тайной надеждой оглянулся через левое плечо, за которым обычно маячил Абд-аль-Рашид. Может, проклятый джинн наконец оставил его в покое?

Однако Совесть обнаружилась на привычном месте.

– Этому можешь не подавать, – бесстрастно сообщил джинн в ответ на немой вопрос. – Он мошенник и притвора. У него обе ноги на месте. А вот совести, увы, нет.

– Ну и шел бы к нему! – взорвался купец. – Или к городскому кади! Знаешь, сколько он с нас хабара берет?! Что ты ко мне, несчастному, привязался?

Нищий наострил уши, и Джаммаль поспешил удалиться от греха подальше. А джинн тем временем вещал:

– Пойми же ты наконец: я *твоя* Совесть, – а не вашего кади и не этого обманщика! Я поклялся отблагодарить тебя и клятву выполняю, чего бы мне это ни стоило.

Из горла Джаммала вырвался стон отчаяния.

«О Аллах, за что?! За какие прегрешения?!»

Четыре дня купец крепился. Старался не отвечать джинну при людях, чтоб его, Джаммала, не сочли безумцем. Стиснув зубы, терпел все увещевания. Оказывается, он, бедный купец, совершал неблагоприятные поступки если не на каждом шагу, то уж по сотне раз в день наверняка. По крайней мере, так считал Стагнаш Абд-аль-Рашид. И если по поводу отказа в милостыне джинн лишь брюзгливо ворчал над ухом, то стоило купцу заявиться к городскому кади, дабы вручить положенный хабар за текущий месяц (все дешевле, чем платить подати сполна...), джинн буквально взвился!

– Как ты можешь потакать этому вору и казнокраду?! Плюнь ему в глаза! Не давай денег! Без промедления сообщи градоначальнику! Пусть он посадит кади в зиндан! Пусть отрубит его нечестивую правую руку! Не смей осквернять свое честное имя гнусностью подношений! Плати подати и спи спокойно. А мерзавца, имеющего наглость занимать судейскую должность, ты обязан вывести на чистую воду. Весь город тебе спасибо скажет!..

Очень трудно было удержаться и не ответить глупому джинну. Однако Джаммаль прекрасно понимал, что получится, начни он на глазах кади пререкаться с пустым местом. Ибо дрянная Совесть для прочих людей оставалась невидимкой. Тем не менее кади, беря деньги,

смотрел на купца с подозрением. То ли Джаммаль не смог до конца совладать со своим лицом, то ли злые языки успели донести кади о странном поведении купца, сохрани Аллах его рас-судок...

Только этого не хватало!

До конца недели купец смирал гнев и вел себя, как прежде, игнорируя упреки Совести. Однако, кроме джинна, у Джаммала имелись целых три жены, и ни одна из них не отличалась покладистым характером. А уж если вся троица, временно объединившись, сообща наседала на мужа, – противостоять им было куда труднее, чем назойливому Абд-аль-Рашиду! Старуха-рабыня Зухра, служившая еще покойному отцу Джаммала, больше не устраивала женщин в качестве служанки. Одряхлела, сделалась подслеповата. Звать начнешь – не дозовешься. Короче, в доме требовалась новая рабыня.

С этим жены и насели на любимого супруга.

Купец и сам понимал, что жены правы, но оттягивал покупку до последнего. Тратиться не хотелось. К тому же купишь молодую да красивую – ревности не оберешься. Купишь постарше и рябую – опять скандал: скряга, скупердай! Но деваться было некуда, и Джаммаль с утра пораньше направился к знакомому работорговцу Тяфанаку.

Джинн, естественно, увязался следом.

Зудеть он начал еще по дороге: мол, новую рабыню купишь, а старую куда? Выгонишь небось? Я тебя насквозь вижу! Она твоим отцу с матерью служила, тебе сопли вытирала, твоих жен одевала-расчесывала, детей пеленала, – а ты в благодарность... Джаммаль шел, стиснув зубы, однако укоры Совести исподволь делали свое черное дело: в дом работорговца купец явился весьма раздраженным.

Тяфанак самолично вышел навстречу, пригласил выпить кофе со сладостями. Пока хозяин и гость, расположившись на мягких подушках, пили кофе и беседовали, слуги выстроили во дворе предназначенных для продажи рабынь. Женщин купец рассматривал придирчиво. Эта старовата; та смотрит косо, небось строптивая; эта вроде всем хороша, даже подмигнула исподтишка. Небось думает, для утех любовных ее куплю. Как же, размечталась: жены нас обоих со свету сживут... А вон та, с ребенком на руках, пожалуй, подойдет. В землю глядит, потупясь, средних лет, неказиста, но и не уродка...

Тяфанак сразу понял выбор гостя.

– Ай, глаз у вас, уважаемый! Орлиный глаз! И всего-то сто пятьдесят динаров. Сто двадцать за рабыню, тридцать – за ребенка.

– Побойтесь Аллаха, уважаемый! За сто пятьдесят динаров я куплю молодую красавицу! Она ведь мне не для гарема нужна, а по дому прибираться. Девяносто динаров. А ребенка оставьте себе.

– Простите, уважаемый, но она продается вместе с ребенком. Ну хорошо, сто тридцать пять за обоих. Неужели вы не понимаете своей выгоды? За эту цену вы покупаете сразу двух рабов! – Для убедительности Тяфанак продемонстрировал два толстых пальца. – Мальчик вырастет, и вы получите отличного слугу. Берите, не прогадаете.

– Пока он вырастет, я успею состариться! На него еды не напасешься! А мать будет то и дело бегать к сыну, отлынивая от работы. Нет, мне нужна только она. Девяносто пять динаров.

Вот тут-то джинн и подал голос – как всегда, в самый неподходящий момент:

– Опомнись! Даже этот работорговец имеет более доброе сердце, чем у тебя! Разлучить мать и дитя?! Послушай, – Абд-аль-Рашид вдруг придвинулся к купцу, горячо шепча в самое ухо, – у тебя есть возможность совершить настоящее доброе дело. Эта женщина будет всю жизнь тебя благодарить! Ее захватили разбойники возле родного села Нашице, под Осияком. Выкупи бедняжку, освободи – и отправь вместе с сыном домой! Ну же, решайся!

От такой наглости на Джаммала на миг нашло затмение, и он, забыв, где находится, заорал в ответ, брызгая слюной:

– Умом тронулся, сын змеи и шакала?! Какое Нашище, какой Осияк?! Разорить меня решил? Дураком перед людьми выставить?! Убирайся, тварь, оставь меня в покое!

Слуги Тяфанака ошалело взирали на бравившегося гостя, сам Тяфанак, приняв оскорбления на свой счет, медленно багровел от ярости, а женщина с ребенком, услышав знакомые слова в речи покупателя, с рыданиями бросилась ему в ноги, и ее с трудом удалось оттащить. Дитя заливалось плачем. Под детские вопли опозоренный Джаммаль спешно покинул дом работоторговца.

Увидев, что он вернулся без новой рабыни, все три жены набросились на мужа с упреками:

- Небось и не ходил никуда!
- В кофейне торчал, деньги прогуливал!
- К блудницам шляется!
- Прогони старуху завтра же!
- Прогони! Совсем из ума выжила, ведьма!

Джаммаль в сердцах плюнул, накричал на жен и старуху прогонять отказался наотрез. «Назло оставляю! – думал он. – Где это видано, чтоб жены мужем заправляли? Как скажу, так и будет».

Однако джинн при всей этой безобразной сцене, как ни странно, молчал, и купцу чудилось, что молчит Абд-аль-Рашид с пониманием. Можно даже сказать, одобрительно молчит.

Что, впрочем, отнюдь не спасло Джаммала от домогательств Абд-аль-Рашида в последующие дни. Кто б мог подумать, что на свете существует столько самых обыденных поступков, которые Совесть может счесть недостойными?! А через неделю, когда купец после трудового дня собирался отойти ко сну, джинн в очередной раз возник перед ним и уселся напротив.

– Пришло время подвести итоги, – заявил негодник. – Итак, за эту неделю ты дважды изменял своим женам, и добро б просто изменял – я тоже мужчина, я способен тебя понять! Но ты потратил на гулящих девок деньги, отложенные на подарки Фатиме, Рубике и Бале, а вот это уже плохо, очень плохо! Ты дал взятку градоначальнику Абдулле, тем самым унизив себя и поощрив его к дальнейшему вымогательству; ты обманывал покупателей, отказал в займе нуждающемуся ткачу Омеру Читьяну, сквернословил, ударил младшую жену по спине чубуком... Кстати, знаешь, почему твои супруги такие сварливые? Потому что им хочется твоей любви и ласки! Часто ли ты делишь ложе с каждой из них? Постыдись, Джаммаль, – избегать верных жен, растрачивая силы и деньги на блудниц!

Купец счел за благо промолчать, решив, что лучше просто дожидаться конца этой душе-спасительной беседы – и спокойно заснуть. Спорить с джинном было себе дороже. Впрочем, какой там спокойный сон?! От свалившихся невзгод в лице Совести Джаммала начала мучить бессонница.

– В придачу ты совершил особо позорное деяние: учил родного сына лгать покупателям! Совести у тебя нет, Джаммаль, вот что я тебе скажу!

– Теперь есть. Ты... – сонно пробормотал купец.

– Не спи! – рявкнул джинн, да так, что купец подскочил на ложе от неожиданности. – Я еще не все сказал! Ты прав: я – твоя Совесть. А другой у тебя, похоже, отродясь не было. Значит, раз у тебя теперь есть совесть, ты должен испытывать ее муки и угрызения.

Джинн надолго умолк, задумавшись.

– Нет, грызть я тебя, пожалуй, не стану, – протянул наконец Абд-аль-Рашид, все еще пребывая в раздумьях. – А вот помучить... Помучить тебя следует. Давай для начала я тебя просто побью? Согласен?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.